

Н. И. ПЕТРОВСКАЯ
ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Публикация Ю. А. Красовского

Имя Нины Ивановны *Петровской* (1884—1928) ныне почти забыто. Однако в свое время оно было хорошо известно в кругах писателей-символистов: жена и помощница владельца издательства «Гриф», С. А. Соколова (Кречетова), хозяйка литературного салона, сама подающая надежды молодая писательница, Петровская принимала живое участие в литературной жизни 1900-х годов.

Впервые в печати Петровская выступила в 1903 г. — в альманахе «Гриф». Затем ее рассказы, фельетоны и рецензии печатались в журналах «Весы», «Перевал», «Русская мысль», в газетах «Утро России» и др. В 1908 г. выпел сборник ее рассказов «Sanctus amor» («Святая любовь»). Литературное дарование Петровской Брюсов считал весьма незаурядным: «Со всей откровенностью и со всем беспристрастием могу сказать тебе, что здесь, в литературе, *есть* для тебя будущее и жизнь, — писал он ей 11/24 декабря 1908 г. — Ты знаешь, что я не очень высоко ценю все, что ты сделала до сих пор. Твою книгу, по-гимназически, я оцениваю «три с плюсом», твои рецензии — «три с минусом». Но я больше других знаю все существующие для тебя возможности. У тебя душа самобытная, у тебя оригинальный, свой взгляд на все, у тебя острая, меткая, тонкая наблюдательность, у тебя понимание стиля. Твой разговор всегда интересен; твои суждения самостоятельны и глубоки; твой слог принадлежит тебе <...> Надо работать, и много, и очень много: это я утверждаю бесспорно»¹.

Но Петровская так и не сумела реализовать эти возможности. Глубокая личная драма заставила ее покинуть Россию. В 1908 г. она поселилась во Франции, изредка приезжая в Москву, откуда в 1911 г. уехала, чтобы больше не возвращаться. «Я не эмигрантка, — писала она позднее, объясняя причины, заставившие ее остаться за границей навсегда. — Мотивы сложные и чисто интимные привели меня к этому решению»². Брюсов в письмах убеждал Петровскую вернуться, доказывая, что от возвращения на родину зависит ее творческая судьба: «русской писательницей нельзя быть, живя в глуши французской провинции» (см. наст. том, стр. 796). Но Петровская не нашла в себе сил выполнить совет Брюсова. В результате литературная деятельность ее почти прекратилась и свелась главным образом к переводам.

Годы войны и революции Петровская провела в Риме, а в 1922 г. переехала в Берлин, где сотрудничала в сменовеховской газете «Накауне». В 1924 г. она предложила издательству «Петрополис» (Берлин) свои воспоминания «о Валерии Брюсове и эпохе, с ним связанной, — личные и литературно-общественные» (так она сама характеризовала их в письме к Горькому³).

К концу 1924 г. положение Петровской было исключительно трудным: связи с родиной полностью оборвались, а послеоктябрьская эмигрантская среда оказалась ей чуждой; попытки издать воспоминания оказались безуспешными, и с закрытием «Накауне» она оказалась фактически без средств к существованию. Доведенная до отчаяния, она обратилась за помощью к Горькому: «Дорогой Алексей Максимович, — писала она ему 23 ноября 1924 г., — вы всегда любили и жалели «человека» — во имя этого, если можете, помогите мне, как последний из людей, к которому я отчаянно обращаюсь <...> Я хочу работы, работы, работы, — какой бы то ни было»⁴.

Горький стремился помочь Петровской. В письмах к М. Ф. Андреевой и некоторым другим своим корреспондентам он просит подыскать ей работу, характеризуя Петровскую как «женщину, достойную помощи и внимания»⁵, дает поручение П. Крючкову послать ей денег⁶, предлагает напечатать ее воспоминания в журналах «Беседа» и

«Русский современник». 9 августа 1925 г. он пишет А. Н. Тихонову: «Очень рекомендую для «Русского современника» воспоминания Нины Петровской о В. Я. Брюсове. Вещь — интересная и, разумеется, более человечная, чем статья Ходасевича, хотя и не столь блестящая»⁷.

Однако в 1925 г. и «Беседа», и «Русский современник» прекратили свое существование, и воспоминания остались ненапечатанными.

Последние годы жизни Петровской сложились трагически: почти полное одиночество, нищета и тяжелое психическое расстройство привели ее к катастрофе — 23 февраля 1928 г. она покончила с собой.

После смерти Петровской написанные ею воспоминания остались у ее берлинской знакомой — Е. В. Галлоп-Ремпель. Вернувшись в СССР, Галлоп передала их в 1934 г. в Государственный Литературный музей. В 1937 г. в печати появилась информация о том, что рукопись Петровской предполагается опубликовать в очередном томе «Летописей» Гослитмузея⁸; однако издание этого тома не осуществилось. Ныне воспоминания Петровской хранятся в ЦГАЛИ, куда поступили в 1941 г., вместе со всем собранием рукописей Литературного музея.

Рукопись воспоминаний представляет собой отрывки двух редакций: 1) черновой автограф (разрозненные листы, авторская пагинация: 1—10, 17—20, 64—84, 86—92); 2) белой автограф (без начала, авторская пагинация: 8—61) — ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2. Кроме того, сохранилась машинописная копия с правкой Галлоп-Ремпель, представляющая собой контаминацию этих редакций (там же, ед. хр. 3).

Судя по незавершенности автографов, а также принимая во внимание свидетельство Галлоп-Ремпель, что в последние годы жизни по ее настоянию и при ее поддержке Петровская работала над своими воспоминаниями, можно предположить, что работа эта не была полностью закончена. Вероятно также, что часть текста (помимо недостающих страниц имеющегося в нашем распоряжении автографа) утеряна: из приведенного выше письма Горького видно, что в его руках была глава, специально посвященная Брюсову; это была, по-видимому, четвертая глава, озаглавленная «В. Я. Брюсов», — в автографе воспоминаний сохранилось только несколько ее фрагментов.

Тем не менее, при всей отрывочности и незавершенности воспоминания Петровской представляют несомненный интерес. Перед читателем встает яркая картина литературной жизни 1900-х годов. В них нашла отражение ранняя эпоха русского символизма — возникновение издательства «Гриф», литературная борьба между двумя группировками символистов, которые объединились вокруг «Грифа» и «Скорпиона». На страницах воспоминаний проходят многие представители символизма — Бальмонт, Сологуб, Вяч. Иванов, Эллис, Курский, А. Белый. Центральной фигурой воспоминаний является Брюсов. Характеристики людей, зарисовки отдельных эпизодов московской литературной жизни сделаны остро и с той наблюдательностью, которую ценил в Петровской Брюсов. Однако весьма критическое отношение к декадентской «толпе» сочетается у Петровской с шлететом в отношении руководителей символизма, а убеждение, что «на дне души каждого художника» живет «мистическое чувство», приводит ее к истолкованию многих стремлений Брюсова как порывов к иррациональному.

Известно, что с именем Петровской связаны многие стихотворения Брюсова, особенно в сборнике «Stephanos», что она является прототипом Ренаты из романа «Огненный ангел», что ее связывали с Брюсовым долгие годы близости. Поэтому ее воспоминания являются важным источником для характеристики Брюсова периода 1903—1905 гг., несмотря на то что они более сжаты и сдержанны по тону, чем те, которые Петровская посвящает другим лицам. В черновых набросках автор дает этому свое объяснение: «Десятого апреля исполнится $\frac{1}{2}$ года со дня смерти Валерия Брюсова. Апрельский дождь окропит его могилу в Девичьем монастыре <...> Я не видела Брюсова в гробу. В памяти он жив и бессмертен. Но говорить о человеке и поэте, которого я не только знаю, но которого чувствовала и чувствую до сих пор неотъемлемой частью моего бытия, говорить через $\frac{1}{2}$ года после его смерти не только трудно, но и ответственно. Ни в одной детали событий, нас связывающих, мне не изменяет память, но, следуя внутреннему голосу, я отдаю этим страницам не более чем десятую часть моих личных и интимных воспоминаний»⁹.

Ниже публикуются фрагменты из воспоминаний Петровской, в которых идет речь о Брюсове; при этом используются обе редакции (ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2). Фрагменты черновой редакции печатаются вслед за беловым текстом (от слов «Символистская эпоха...» — стр. 780 и далее, до конца).

Существенным дополнением к воспоминаниям, как бы продолжающим их хронологически, является переписка — 144 письма Брюсова и 198 писем Петровской за 1903—1912 гг. (ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 4; ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95; ИМЛИ, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 38, 39, 105; ГБЛ, ф. 386. 72. 12 и 386. 98. 18—22).

В приложении к публикуемым воспоминаниям печатаются выдержки из писем Брюсова за 1906—1909 гг., в которых содержатся суждения о литературе и современной литературной жизни, а также высказывания, раскрывающие творческий мир поэта, поиски им новых путей. Все выдержки взяты из писем, хранящихся в ЦГАЛИ.

¹ ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 4, л. 57—57 об.

² ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1.

³ АГ, КГ-п 5—6—1.

⁴ Там же.

⁵ Письмо без даты — АГ, ИГ-рл 2а—1—59.

⁶ Письмо от 4 сентября 1926 г. — АГ, ИГ-рл 21а—1—93.

⁷ «Горьковские чтения. 1953—1957». М., 1959, стр. 51. Воспоминания В. Ходасевича о Брюсове были напечатаны в журнале «Современные записки», 1925, кн. 23.

⁸ ДН, т. 27-28, стр. 691.

⁹ ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2, л. 96.

Помнится, приблизительно за год до возникновения книгоиздательства «Гриф», у меня необычайно обострилось томление по жизни, горькая тоска существования, где ничто не вызревает и не завершается, где каждый день с утра очеркивается сознанием ненужности, а вечером сводится к нулю, к пустоте, к небытию. <...>

Читала тогда много с инстинктивным, но глубоко тенденциозным выбором. Прежде всего шли оккультные книги, потом французские символисты, русские — Минский, Мережковский, Гиппиус, все вышедшие сборники В. Я. Брюсова, Бальмонта, «Мир искусства», «Северные цветы» т. д.

Вся новая русская литературная проповедь, осмеянная растлителем мысли критиком Акимом Волинским¹, была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов.

Маленькие сборники его «Chefs d'Oeuvres» и «Me eum esse», — потом вышное «Urbi et Orbi» стали для меня символом моей новой веры. Их брали иногда с полок и этажерок наши гости, вылощенные мумиеподобные адвокаты и прокуроры и их вертлявые жены в бриллиантах; эlegantнейшие артиллерийские офицеры (сослуживцы Кречетова по отбыванию воинской повинности), щелкая шпорами, не прочь были тоже поболтать о литературе. До них, очевидно, как-то досочилась ядовитая слюна Акима Волинского, и слово «декадент» — смешное, пошлое и крикливое, ни в чем Брюсова не выражающее, — как бумажный хвостик, прицепилось к краю его багряницы.

Офицеры, адвокаты, разжиревшие спекулянты, модные актеры и т. п. — вся эта нечисть, питавшаяся гноем эпохи перед 1905 годом, так и была уверена, что Брюсов ест засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищенским склепам, а днем, как фавн, играет с козами на несуществующих московских пастбищах!.. Слово «Метрополь» вызывало немед-



КАТАЛОГ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА
«СКОРПИОНЪ» на 1902 год
Обложка
Рисунок Н. Г. Филианского

ленно приятнейшую ассоциацию пышного раззолоченного кабака, и едва ли кто-нибудь из них знал, что на заднем дворе этого сладостного «Метрополя» в двух маленьких комнатках ютится настоящий русский литературный Олимп, где куется самая утонченная наша культура. Кто знал тогда имена Ив. Коневского, Добролюбова, Балтрушайтиса, тех самых верных соратников Брюсова, и самоотверженного издателя «Скорпиона», «Весов» и «Северных цветов» — Сергея Полякова, в прекраснейших переводах познакомившего публику с избранными образцами скандинавской литературы. Кто их знал? <...>

Валерия Брюсова сжигала мечта об увенчании русской литературы в веках и, «гордый, как знамя, острый, как меч»², он шел по пути, *им* сознательно намеченному, вынося на своих плечах «Весы» и весь «Скорпион» до последней гранки. Даже вся техническая часть проходила через его руки.

В программе же «Грифа», кроме произведений немногих сотрудников «Скорпиона», утопающих в неприятной пестроте ненужных имен, не было ничего нового. <...>

«Гриф» при его гордых замашках не стал филиальным отделением «Скорпиона», а это было бы вовсе не плохо и даже полезно для расширения одного сплоченного фронта, в то время очень нужного. Если бы не стихийный К. Бальмонт и республикански настроенный С. Кречетов, а «академический» Брюсов был бы хотя его даже отдаленным руководителем, дело бы по-настоящему и пышно процвело.

Стоя к «Грифу» ближе всех, я с первых же шагов поняла, какой червь выест, может быть, совершенно незаметно для публики, слабую, но тогда еще живую ткань сердцевины его.

«АЛЬМАНАХ ГРИФ». М., 1904

Обложка.

Рисунок М. А. Дурнова



Разговор об этом повел к внутреннему расколу между мною и мужем-редактором, потом к бесполезной борьбе и, наконец, к открытой вражде.

Для непосвященных, для газетных церберов (Любощиц³, Яблоновский⁴ — «имя им легион»), свирепо лающих со всех эстрад (как и для московских обывателей), между «Скорпионом» и «Грифом» не было разницы. Для них просто-напросто развернулся ненавистный декадентский фронт — усилилось растлевающее литературное влияние. Такое ошибочное приятие «Грифа» всячески способствовало славе его, сначала, конечно, скандальной, а потом и признанию как довольно крупного культурного начинания.

Сами сотрудники «Скорпиона» этому способствовали потом всячески (кроме Брюсова, Балтрушайтиса, Садовского и нескольких второстепенных сотрудников «Весов»). Присылал свои вещи А. Ремизов, прислал М. Кузмин после яростной ссоры между нами отвергнутые редактором «Крылья»⁵, печатался С. Ауслендер⁶, Дымов⁷.

Вещи, отвергнутые «Скорпионом», радушно принимались «Грифом», оскорбленные самолюбия выплакивались в редакторскую жилетку. Терпимость С. Кречетова приобрела широкую популярность, особенно когда возник «Перевал», окончательно загубленный журнал, несмотря на большие возможности⁸.

Что делал в это время Брюсов? Он пока только равнодушно отмахивался от шумихи, как отстраняет могучей лапой большой пес шумливого надоедливового щенка. Впоследствии он даже появился на одном из наших вечеров, очень сухой, корректный, выслушал несколько стихотворений, один мой рассказ (стыдно вспомнить, до чего плохой!), не высказал никаких суждений, любезно согласился остаться ужинать, прочел сам несколько вещей, все время оставался, как капля масла на воде, и скрылся на полтора года <...>

В ту осень, накануне грозного 1905 г., как во все катастрофические эпохи, московская жизнь завилась блистательным вихрем. Развращающее влияние популяризованного «декадентства», буйно прорвавшего все плотины и хлынувшего в толпу, закружилось смерчами во всех эстетизирующих барственных кругах и докатилось даже до гимназических застенков. И, конечно, законодателем (хотя и невольным, быть может) всех этих вскруживших голову дамам, их мужьям, старцам, девам и юношам неистовств — был Бальмонт.

Его солнце стояло тогда в зените. Французов, профильтровавшихся в русский символизм, как-то просмотрели, или просто не вчитались в них. Брюсов долго стоял одиноким колоссом, и такого рода популярность презирал и ненавидел.

А тут вдруг, как гонг, ударил свой отечественный лозунг: «Будем как Солнце!» Станем безудержным «воплощением внезапной мечты», насладимся всеми утехами «Зачарованного грота»⁹.

А «внезапности мечты» у людей пресыщенных, по всем статьям быта благополучных, в большинстве случаев совершенных бездельников, были иногда весьма многообразны...

Это желание непременно вылезти из кожи и «сладко падать с высоты»¹⁰, рожденное в тупиках мысли и чувства, в тупиках же и иссякало, но в общую атмосферу жизни вливало явно разлагающую струю.

Где-то уже явно слышались грозные гулы грядущего 1905 г., а над Москвой, утопающей в переутонченных причудах, в вине, в цветах, в экзотической музыке, стоял столбом мертвенно зеленый масленичный угар.

Подбор вошедших в моду литературных произведений и бешеный спрос на них являлись тоже знамением времени.

Возрос небывалый интерес к Оскару Уайльду, раскупили в миг «De profundis», «Балладу Редингской тюрьмы», «Портрет Дориана Грея» и «Саломею» — последние два очень дорогие «роскошные издания Грифа». Потребовалось буквально рынком новое издание «Цветов зла» и все до последней строчки Бодлера. «Homo sapiens» — изд. «Скорпиона» — стало новой моральной проповедью¹¹. Интерес к личной жизни новых писателей набухал пикантными сплетнями, выдумками, рассказами небылиц.

Маленькие газетные черберы — прихвостни старых толстых журналов и маститых авторов — вопили «караул» с эстрады Художественного кружка, поносили в лицо непристойными словами докладчиков враждебного лагеря. Очередные вторичные рефераты редко кончались без скандалов.

Но ничего не помогало. Унылое платоническое народничество и канитель житейского быта под разными соусами надоели читающей публике. Бессознательно жаждала она чего-то «нового», а это новое, да еще в извращенном понимании, ошарашивало воображение кощепциями, формами, трепетными, раздражающими намеками символов.

Так — хаотически, скачками, среди карикатурных курьезов завоевывала свое место на страницах истории новая русская литература. Все эти нелепости отвалились потом, как отмороженные пальцы. Осталось крепкое стальное звено в цепи русской — и европейской — преемственной культуры, которое, как чернорабочий, начал одиноко ковать Брюсов. Умиравший, расползающийся по всем швам, разлагающийся быт отражал эту эстетическую сумятицу в самых комических подробностях.

Дамы, еще вчера тяжелые, как кули в насиженных гнездах, загрезили о бальмонтовской «змеиности», о «фейности» и «лунноструйности»; обрядились в хитоны прерафаэлитских дев и, как по команде, причесались à la Monna Vanna¹².

Кавалеры их и мужья приосанились, выутюжились à la Оскар Уайльд. Появились томно-напудренные юноши с тенями под глазами. Излюблен-

ным цветком стала «тигровая орхидея», впрочем, еще до Бальмонта увековеченная пикантным Мопассаном как «грешный цветок».

За ассамблеями подавались рюмки и бокалы на тончайших и длиннейших хрупких ножках, гостиные раскорячились «стильной» мебелью отечественного изделия, на спинках диванов повисли лоскутки парчи, вошли в моду тусклые, линялые цвета, в употребление — слова: «нюанс», «аспект», «переживанье», «многогранность».

В те дни действительно «угрюмым магом» с высот «Метрополя» смотрел на этот «балаганчик» Брюсов, окруженный очень немногими друзьями, сороботниками и почитателями, не пустившимися в пляс. Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского, на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта и как на человека. Когда Брюсов говорил о Коневском, у него менялось лицо и он делался тем Брюсовым, которого так хорошо знала, может быть, одна я и которого так легкомысленно проглядел до конца Андрей Белый!.. Помню, в одну из наших совместных летних поездок Брюсов предложил мне поехать в «Ливонскую Швейцарию» (поблизости от Риги на берегу реки Аа), на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желание удивило. В жаркий июльский день стояли мы на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем и лазурью воде.

— В одну из таких втянуло Коневского, — сказал Брюсов, — вот в такой же июльский день... вот под этим же солнцем... Он был без бумаг, его схоронила деревня как безвестного утопленника и только через год отец случайно узнал, где могила сына...

Он стоял, отвернувшись от меня, и бросал камешки в воду, с необычайной четкостью попадая все время в одну точку. Это бросанье камешков я видела потом много раз, — оно выражало всегда у Брюсова скрытое волнение и глубокую печаль.

Потом мы пошли на кладбище. Ах, ничего не потерял Ив. Коневской, если деревня похоронила его в этом пышном зеленом раю, как безвестного утопленника. Зеленым шумящим островом встало оно перед нами, — низенький плетень, утопающий в травах, — ни калитки, ни засовов, — только подвижная рогатка загораживала вход — и то, верно, не от людей, а от коров... Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой — на плите венюк из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастаются дуб, клен и вяз.

Брюсов нагнулся, положил руку на венюк, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травинки от венка. Я знаю, что он очень берег их потом.

Ив. Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме него, у Брюсова настоящих друзей уже не было никогда (<...>)

Большим пышным вечером чествовали приезд Блока в доме А. Белого, потом у нас — в «Грифе»¹³.

Брюсов, сам Блок, Бальмонт, Эллис читали стихи за чайным столом, за ужином. Но не богемный, а чисто светский характер носил этот вечер. Только А. Белый как-то боком, по-медвежьи или точно по кочкам ходил среди гостей в черненькой своей курточке. Иногда подходил и спрашивал: «Хорошо? Правда? Хорошо, что приехал Блок? Вам нравится Любовь Дмитриевна?»

В этот вечер сковались крепкие звенья той цепи, что связала потом в трагические узлы судьбу и жизнь некоторых присутствующих. Но только молодые сотрудники «Грифа» и аргонавты смотрели на Блока, восторженно ловя его каждое слово. Бальмонт, как всегда слишком занятый собой и уже с легкими признаками наступающего «одержанья», был с Блоком

почти высокомерен, Брюсов преувеличенно оживленно, но почему-то крайне сухо, говорил с ним о его книге, о стихах, о «Скорпионе» и т. п. Всех поразило чтение стихов Блока. На первый раз оно казалось почти топорным, монотонным, нагоняющим скуку. Все на низких однообразных нотах, точно при этом каждую строчку отбивал невидимый метроном. Но именно эта простота потом начинала неизъяснимо нравиться, казалась органически связанной со всем его существом. <...>

Блок уехал. Аргонавты чутко насторожились, а мистерии все не осуществлялись. В те дни Белый даже как будто избегал аргонавтов. В душе его совершался бессознательный, но тягостный перелом. Подменялись смыслы, колебалась почва под ногами, наплывали тяжелые флюиды, стало пугать то «черное» начало, носителем которого он считал Брюсова. Запомнился мне необычайно отчетливо один вечер. В Художественном театре первый раз давали «Вишневый сад»¹⁴. Мы поехали вдвоем. Ощущение огромного личного счастья преображало все; все казалось значительным, необычайным, полным нового прекрасного смысла. Крупными горящими звездочками кружились снежинки вокруг фонарей. Белые гирлянды небывалых цветов свисали с деревьев. Милой, какой-то родной казалась спина у извозчика — скорбно согнутая спина вечного чеховского Ионы. В фойе — настоящий праздник искусства: вся литературная и артистическая Москва. Русский московский праздник, освященный традициями, тоже казался прекрасным, неповторимым.

Плохие почему-то только нам попались — боковые — места в партере. Приходилось, глядя на сцену, вытягивать шею.

В антракте зал задвигался, зашелестел, зашумел, заблестал. Куда смотрел А. Белый с таким ужасом потемневшим синим взором?

— Смотрите? Видите?.. Напротив, в ложе бенуара. *Он! Он* смотрит! Ах, как это плохо, плохо, плохо!

— Он? Кто?

— Валерий Брюсов!

Действительно, напротив, около самого барьера ложи, опустив вниз руку с биноклем, на нас пристально смотрел Брюсов. Точно сквозняком откуда-то подул. Не знаю почему, но сердце сжалось предчувствием близкого горя.

Мы очень официально раскланялись. Потом я напоминала этот вечер Брюсову. Он смеялся: «Вольно же вам было быть такими хрупкими, и еще верить в «сглаз».

В этот вечер неясно еще для меня Брюсов незримо вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда — вечно. <...>

Символистская эпоха была одной из неповторимых русских литературных эпох, потому что многими корнями своими она вращалась в назревающий катастрофический перелом русской жизни, отмеченный двумя грозными датами: 1905 и 1917 гг.

В романе «Хождение по мукам» А. Толстой описывает Петербург перед разразившимися событиями и разложение самых избранных интеллигентских кругов. На него была похожа Москва в 1903, 1904 гг. В стремлении общества что называется «вылезти из кожи» было бессознательное прощание с бытом, все прелести которого людям, очертя голову, хотелось использовать до последних возможностей. Прогрессивная волна переживаемого момента в те годы не захватила широкую толпу. Деятельность же работников и создателей, обставленная в высшей степени мрачными подробностями, проходила, конечно, подпольно и в тиши.

А на авансцене, словно накануне потопа, бесновались искривленные призраки, — люди никчемные, ничтожные, провозгласившие лозунгом «своей» жизни дурно понятое «самоутверждение».

А. А. БЛОК

Рисунок неизвестного художника.

Карандаш, 1900-е годы

Литературный музей, Москва



В пучине исторических событий, конечно, рождаются новые люди, новые ратоборцы будущего, — и они рождались уже тогда, но не на виду, не на глазах.

Что символические поэты и писатели тех лет стояли далеко от общест-венности, я думаю, за это их не должно упрекать. Может быть, не подня-ся еще слишком высоко гребень волны. Но когда восстал «девятый вал», многие из них доказали на деле свою любовь к подлинной России. Но тог-да — да! — они были далеки от общественности и реагировали на прои-сходящее вокруг своеобразно, точно стремясь уйти из этого мира как мож-но дальше в какой-то манящий тайнами, загадками, обещаньями, намека-ми сверхчувственный мир.

Характерны стихи и романы Ф. Сологуба тех дней, — особенно «Навьчары», примечателен вопль Бальмонта «Будем как Солнце!», «Огненный ангел» Брюсова — вещь, правда, задуманная давно, но написанная со страстным вдохновением именно в то время. Бесформенное мучительное мистическое чувство, живущее на дне души каждого художника, обостри-лось до мученья в целой плеяде писателей и выражалось в каждом соот-ветственно его индивидуальности: у Сологуба — в демонизме, у А. Бе-лого и отчасти у С. Соловьева как заостренная маниакально-религиозная идея, у Блока в туманном мистицизме «Прекрасной Дамы», в безудержном эротизме у Бальмонта. И у молодых: в общем порыве к тому, «чего нет на свете».

О Брюсове я бы сказала, что в душе его «зашевелился» «древний хаос» — его позвали заповедные цветущие сады его поэтической мечты, находящие-ся за порогом уютного семейного гнезда на Мещанской.

Стремление к чему-то небывалому, невозможному на земле, тоску души, которой хочется вырваться не только из всех установленных норм жизни, но и из арифметически точного восприятия пяти чувств — из всего того, что было его «маской строгой» в течение трех четвертей его жизни, — носил он в себе всегда.

Разве не стоном звучат эти строки:

Влеки меня, поток шумящий!
Бросай и бей о гребни скал,
Хочу тоски животворящей,
Я по отчаянью взалкал!¹⁵

А вокруг него, умильно посматривая на мэтра, бродили поэты с напечатанными рукописями, вокруг царствовала, несмотря на разнужданность карнавала, условность чувств и отношений, бродила в полудобрее и полужле толпа знакомых и чужих.

«Взалкав по отчаянью», по гомерическим чувствам, которые всегда были единственным стимулом его творчества, он спустил с цепи свой «хаос» и швырнул себя в «поток шумящий» совершенно исключительных жизненных комбинаций.

Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам? Отвечая на этот вопрос, я ничего не преувеличу и не искажу. Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той — *тайной*, которую не знали окружающие, с той, которую он в себе и любил, — и, чаще, люто ненавидел, с той, которую сам же предавал, не задумываясь, вместе со мной своим и моим врагам.

И еще одно: в то время как раз облекалась плотью схема «Огненного ангела», груды исторических исследований и материалов перековывались в пластически-прекрасную пламенную фабулу. Из этих груд листов, где каждая крохотная заметка строго соответствовала исторической правде, вставляли образы графа Генриха, Рупрехта и Ренаты.

Ему были нужны подлинные земные подобию этих образов, и во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния (Элевзинские мистерии!..) ¹⁶, оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, — словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе — в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С. Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства «Гриф».

Ни одним из этих моих качеств я не горжусь. Многие из них отмерли с годами, некоторые прошли, как проходят в жизни каждого человека неминуемые детские болезни. Некоторые же не только укрепились, но ощутились как органическая основа души навсегда.

Тогда же *все* они цвели во мне пышным букетом и к тому же в прекрасной раме барственной жизни, где даже детали горя обставлялись эстетически.

И я нужна была Брюсову для создания не фальшивого, не вымышленного в кабинете, а подлинного почти образа Ренаты из «Огненного ангела».

Потому любопытство его, вначале любопытство почти что научное, возрастало с каждым днем <...>

Было это поздней ночью в каком-то труппном переулке около Дорогомиловской заставы. Ледяной ноябрьский ветер свистал по пустырю, колосола налету замерзающий дождь. Глубоко пряталась в пухло-черных тучах маленькая хилая луна. Свет ее в грязных прорезах был мертвенно сер. По рытвинам, по тоскливому бездорожью тянулись низкие досчатые заборы. «Золото и лазурь» задержались погребальной пеленой этой ночи, — навсегда...

— Вот видите, В. Я., — обступил ведь «сон глухой черноты» и уйти некуда, — нужно значит войти в него. Вы уже в нем, теперь я хочу туда же.

Он, конечно, знал, о чем я говорю. Под эту «декадентскую фразу» даже здесь, сейчас, я могла бы подписать простую, удобопонятную. Но тогда выразаться удобопонятно было не в моде.

Он знал, но все-таки мы еще не понимали друг друга.

Брюсов положил мне руки на плечи и посмотрел в глаза невыразимым взглядом:

— И пойдете? Со мной? Куда я позову?

С этой ночи мы, сами того не зная, с каждым днем все бесповоротнее вовлекались в «поток шумящий», который крутил нас потом 7 лет.

Наступала настоящая зима — с морозами, с запевающими на перекрестках белыми вихрями.

В наших излюбленных печальных и бесприютных местах, в Дорогомилове, в Девичьем монастыре, на Ваганьковском кладбище, в вымершем Петровском парке наметало сугробы. Тогда мы стали проводить дни в музейных и выставочных залах, а ночи в ресторанах — всего больше в ресторане «Метрополь».

Помню наш столик, — говорю «наш», потому что лакеи, включив нас в круг ночных забуддыг, как-то умели его освобождать к 11 часам. Он стоял около внутренней подъемной машины. Стекланный высокий ящик, разрисованный по изумрудно-морскому фону какими-то подводными цветами, медленно поднимался и опускался каждые пять минут. В нем просто-напросто возили пустые тарелки и привозили кушанья. Но в слегка затуманенном вином и музыкой мозгу возникали причудливые грезы о подводном морском дне, — качались полумертвые водоросли, они словно ждали утопленников, чтобы оплести их тела цепкими зелеными волосами, таращили глаза морские рыбы, шевеля радужными вуалевыми хвостами, дышали ядовито-жгучие подводные цветы...

Красный фрак дирижера неаполитанского оркестра развевался узкими фалдочками в синеватой ресторанной мгле.

Об этих ночах Брюсов писал:

Словно в огненном дыме и лица и вещи...

Как хорош, при огнях, ограненный хрусталь...

За плечом у тебя веет призрак зловеций ...¹⁷

Но ни в концерты, ни в театры мы почти никогда не ходили, иногда разве, и то словно по наряду, на значительные премьеры. Серьезная музыка, да что, даже опера, наводили на него буквально сон. Самый сладкий, запретный и неприличный сон.

Какой-то новомодный режиссер Большого театра вывез почти все декорации для «Мадам Баттерфляй» из Японии¹⁸. Это было сенсационно, и вся почти Москва сбежалась слушать и смотреть. Мы тоже пошли. К концу первого акта В. Я. начал зевать, в начале второго просто заснул, а в конце его уехал на заседание Художественного кружка. «Братьев Карамазовых» я, благодаря ему, из двух представлений видела три четверти первого с грехом пополам¹⁹. А на «Жизнь человека», где я проплакала от поднятия занавеса до конца над «разбитой жизнью», он и совсем не пошел²⁰.

Современный театр его не удовлетворял. Он находил его обветшалым, слишком связанным с отжившими традициями. Даже Художественный тех лет. <...>

В 1905 г. покойный Врубель писал портрет Брюсова, находясь в психиатрической лечебнице д-ра Усольцева в Петровском парке в Москве. Щемящей безнадежной тоской над особняком шумели облетающие липы. В коридорах тоже тоска смертная. Помню, дверь была полуотворена в одну камеру. Кто-то сидел у стола, закрыв лицо руками, рядом стоял служатель и уговаривал:

— Барин! скушайте котлетку...

— Голубчик, скучно мне, — отвечал голос на звенящих струнных нотах. И опять: — Да барин же, скушайте ж котлетку.

В одной из этих одиночных камер полуслепой, безумный Врубель писал портрет Брюсова — каменную легенду немислимых плоскостей, линий углов, — стараясь замкнуть в гранитном футляре — огненный язык.

Брюсов не любил этого портрета. Чуть наклоненная вперед фигура поэта отделяется от полотна, испещренного иероглифами. Все в ней каменно, мертво, аскетично — застывшие линии черного сюртука, тонкие руки, скрещенные и плотно прижатые к груди, словно высеченное из гранита лицо. Живы одни глаза, — провалы в дымно-огневые бездны. Впечатление зловещее, почти отталкивающее. Огненный язык, заключенный в теснящий футляр банального черного сюртука. Это страшно. Две стороны бытия, пожирающие друг друга, — какой-то потусторонний намек...

Портрет этот никому не понравился. Мы с Брюсовым тайно согласились его уничтожить — просто искромсать ножом, — совершенно по-скифски и совершенно не думая ни о вечности, ни об убытках мецената. Помешало одно непредвиденное обстоятельство: в тот вечер, когда мы, будучи своими людьми, могли свободно пройти в редакцию «Золотого руна» в отсутствие издателя, лакей Филипп напился и не отпер нам дверь. Потом пришла неудобная для действия неделя, и Николай Рябушинский, верно что-то учуяв в воздухе, портрет куда-то скоро сплавил. Где он сейчас, не знаю, но недавно видела репродукцию его здесь, в Берлине ²¹. <...>

В приемной «Скорпиона» и «Весов» в деловые часы стиль был строг и неизменен. Здесь более, чем где-либо, одна половина существа Брюсова жила своей подлинной жизнью.

Молодые поэты поднимались по лестнице с затаенным сердцебиением. Здесь решалась их судьба — иногда навсегда, здесь производилась строжайшая беспристрастная оценка их дарований, знаний, возможностей, сил. Здесь они становились перед мэтром, облеченным властью решать, судить, приговаривать.

Не только для Москвы и Петербурга, но тогда и для всей России две комнатки на чердаке «Метрополя» приобрели значение культурного центра, непоколебимость гранитной скалы, о которую в конце концов разбивались в щепки завистничество и клевета ортодоксальной критики.

Аристократизм «Скорпиона», суровая его замкнутость, трудность доступа в святилище, охраняемое «свирепым цербером» (так говорили, конечно, шутя) — все это вместе относилось исключительно на счет Брюсова, и стена между ним и людьми росла <...>

«Острый, как иголка», сухой, недоброжелательный ко всем нам и, конечно, — хотя и несправедливо, — ко мне.

В те годы он был очень болен и постоянно подвергался каким-то операциям в кости верхней челюсти. Появлялся измученный, исхудавший, со свирепым выражением лица.

— Оставьте меня все! — говорило оно.



БРЮСОВ

Портрет работы М. А. Врубеля. Сангина, уголь, 1906
Третьяковская галерея, Москва

А Кречетов, ненавидевший Брюсова люто и всю жизнь, злорадно подсмеивался:

— Совершеннейший волк! Глаза горят, ребра втянуло, грудь провалилась. Волк, да еще голодный, рыщет и ищет, кого бы разорвать!

Смешных легенд в те годы о Валерии Брюсове ходило множество, и все они почему-то окрашивались в один цвет: *черный*. Всего больше этому способствовали А. Белый и С. Соловьев. Ничего, кроме облика лубочного демона, не «узрел» А. Белый в личности Брюсова — глубокой, неисчерпываемой, неповторимой...

Будучи человеком бездонных духовных глубин, Брюсов никогда не обнаруживал себя перед людьми в синтетической цельности. Он замыкался в стили, как в надежные футляры, — это был органический метод его самозащиты, увы, кажется, мало кем понятый.

Однажды, еще до нашего знакомства, в доме друга Брюсова — Ланга-Миропольского я долго смотрела на портрет 20-летнего Брюсова. Пламенные глаза в углевых чертах ресниц, резкая горизонтальная морщина на переносье, высокий взлет мифистофельски сросшихся бровей, надменно сжатые, детские нежные губы.

Власть и обреченность на суровый жизненный подвиг. Вспоминая тот портрет сейчас, я читаю запечатленные строки:

Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь²².

Он подставлял лицо и душу палящему зною пламенных языков и, сгорая, страдая, изнемогая, всю жизнь исчислял градусы температуры своих костров. Это было его сущностью, подвигом, жертвой на алтарь искусства, не оцененной не только далекими, но даже и близкими, ибо существование рядом с таким человеком тоже требовало неисчислимых (и, хуже всего, не *экстатических*, а *бытовых, серых, незаметных*) жертв.

Для одной прекрасной линии своего будущего памятника он, не задумываясь, зачеркнул бы самую дорогую ему жизнь.

Фанатиком, жрецом, священнослужителем искусства прошел Брюсов сквозь жизнь, и в этом одном была его органическая сущность.

Мало кто знает сейчас действительно, как жил Брюсов в дореволюционные годы. Он был странно охвачен страстью общественной деятельности, совершенно беспартийно, и также в этот тусклый костер бросал немалую часть себя. Художественный кружок, рефераты, заседания, суды чести, участие в художественных президиумах, редакция «Скорпиона», «Русской мысли» — в те годы все это поглощало у короткого вообще человеческого дня часы и часы. Он писал стихи на почном, на «вечернем асфальте», они высекались в его памяти, как на медной доске, он писал их в трамваях, на извозчиках, в коридорах общественных учреждений, за ужинами, на вернисажах.

У него не было ни одной записной книжки (у Бальмонта от них топорщились карманы). Иногда приходил и говорил:

— Скорей! Садись, запиши, я потом *сделаю*.

Это слово я подчеркиваю. Капризное экстатическое вдохновенье, управляющее, например, всей поэтической сущностью Бальмонта, Брюсов считал лабораторным процессом, о котором никто не должен знать, пока строфы и рифмы, обработанные на чернорабочем станке, не получали ковкость и звонкость металла <...>

Недавно я спросила одного молодого поэта:

— Каким представляет себе ваше поколение Брюсова в реальной жизни?

— Размеренным, конечно, методичным...

Рассказывают, например, что он писал стихи, запираясь, как в башне, у себя в кабинете, требуя вокруг абсолютной тишины, писал по хронометру — «от такого-то до такого-то часа...»

Смешно, но так думали и думают многие! Никто, вероятно, не скажет этого про Бальмонта! <...>

Знаменитые строчки Бальмонта:

Нам правятся поэты, похожие на нас,
Священные предметы, дабы украсить час,²³ —

Брюсов приводил как яркий и комический пример поэтического «соловьиного пения», где не требуется «работы», упорной, часто ювелирной, часто скульптурной, часто философской. Но *когда* он работал, поглощая тома материала для предварительных исследований, — я не знаю, как успевал с такой внешней легкостью выбрасывать в печать тома стихов и прозы — это для меня до сих пор тайна <...>

Бог знает, какой сумбур в характеристику Брюсова вносит А. Белый в «Воспоминаниях о Блоке»²⁴.

А в Москве были и такие, что на первом плане отмечали обывательски-буржуазные черты его жизни.

На многое и я смотрела с грустью...

Но только теперь, через годы, после смерти, глубокий смысл открылся для меня в его полусутильных, не раз повторяемых словах:

— Ах, позволь мне иногда быть маленьким, маленьким и в это время уходить. Позволь мне иногда прятаться «в коробочку». Я так устал быть всегда «большим».

Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный скюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассветах усталого, сонного, чужого. Для всего этого нужна была «коробочка» — стиль. Жизнь жены его, полная незаметных, но, вероятно, колоссальных бытовых жертв, не будет воспета литературными историками и не запламенеет в вечности самоцветами терновый венок ее.

Ах, слишком долго, с маской строгой,
Бродил я в тесноте земной... ²⁵

Годы, о которых я пишу, были годами расцвета таланта, сил и общественно-поэтической деятельности Брюсова. Он приступил тогда к печатанию сборника «Stephanos» — запечатленному в «Последних мечтах» пышными строками:

Когда ж в великих катастрофах
Наш край дрожал и кликал Рок, —
Венчая жизнь в певучих строфах,
Я на себя взложил «Венок» ²⁶.

Жизнь венчала его истинной славой и признанием, и именно в те дни слагалась его ложная легендарная характеристика. Будет ли она исправлена, разъяснена после смерти, — не знаю.

Увидавшись с А. Н. Толстым здесь, в Берлине, спросила:

— Ну, а что же Брюсов? Расскажите.

Экспансивный и жизнерадостный Толстой сделал безнадежный жест.

— О чем с ним говорить-то? Сидели рядом за столом, «заседали», обсуждали вопрос о писательских пайках.

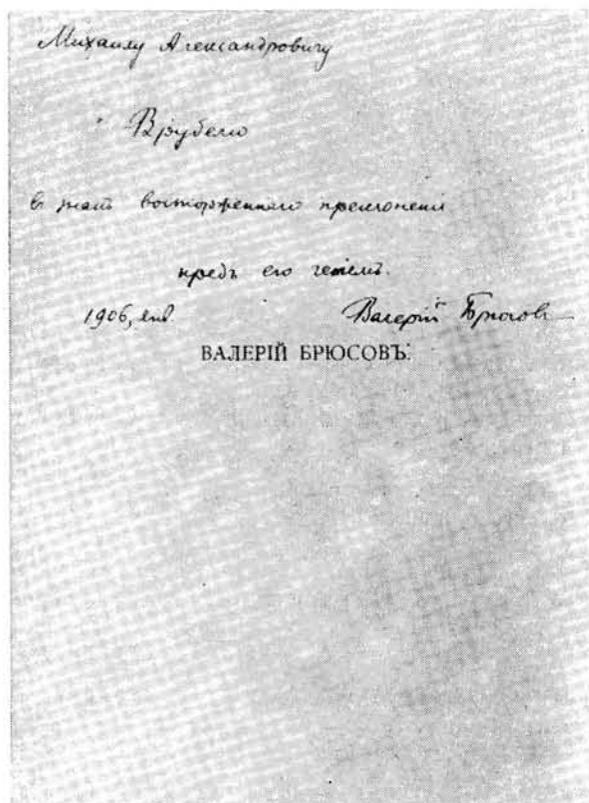
Толстой повел плечами, как в ознобе:

— Холод какой-то вокруг Валерия Яковлевича. Даже физический, могильный какой-то! Больше не встречались...

Так рассказывал о Брюсове последних лет А. Н. Толстой — человек чуткий, хотя и далекий ему, но все же не чужой. За «маской строгой» и он ничего не прозрел.

Но не виню в этом А. Н. Толстого, встретившего Брюсова за два года до смерти — верно, полубольного, на 50-й весне. Вероятно, как никогда, загородившегося «стилем». Но и в те баснословные наши годы, когда имя его было окружено ореолом славы, никто не подошел к его сущности верным путем.

Литераторы, особенно петербургские, критика, публика, просто знакомые, — все без исключения, сделав схему из его подлинных же черт, рассматривали в Брюсове какого-то «бумажного», бесплотного человека. Молодые поэты, талантливые и бездарные, перед ним почтительно преклонялись, принимали каждое слово его за схоластическое откровение, расшифровывали, споря до пота, каждую строчку его поэзии, как некие замысловатые профессиональные ребусы, падали ниц перед его «мастерством», но... в редакцию «Скорпиона» шли, как на казнь.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ
НА СБОРНИКЕ «СТЕРHANOS»:
Михаилу Александровичу Врубелю
в знак восторженного преклонения
пред его гением.
1906, янв. Валерий Брюсов»
Библиотека СССР
им. В. И. Ленина, Москва

Было, конечно, больно, когда анатомически-расчленяющий нож вонзался в живое тело. Было очень больно, и боль казалась незаслуженной, потому что не понимали *отчего* и *зачем* эта мука и *какой властью* терзали их Брюсов.

Помню эстетизирующего новеллиста-петербуржца С. Ауслендера, свалившегося однажды в Москву, как лягушка в чужое болото. В оливковой суконной рубашке до пят, без пояса с белым воротником «à la Робеспьер», с локоном, свисающим до кончика носа.

От «инквизиционной пытки» «Весов» он пришел отдыхать в «Перевал» под гостеприимный кров С. Кречетова. И в «Весы» не вернулся. Инквизитор от литературы, схема, картонный манекен, начетчик, маг, волхв, звездочет, «одержимый», маниак честолюбия и величия, в общении человек трудный и тяжелый, ядовитый, колющий, как игла, — так покончило с личностью Брюсова общественное мнение, так поставило на нем штамп...

Для петербуржцев (да простится это и покойному А. Блоку!) литературная Москва казалась царством Брюсова, очень неприятной «монархией», царством «ежовой рукавицы». А в Москве уже маститый, на всех перекрестках признанный Брюсов, председатель Художественного кружка, член многочисленных обществ, член суда чести, arbiter художественного вкуса — считался каким-то дальнобойным колоссальным крепостным орудием, официальной военной позицией и... консервированным, замаринованным в строфах, томах, трудах — сухарем. Жертв его никто не понимал и не принимал. И его никто не любил. <...>

Жизненные встречи его были лишь профессионально-социальными отношениями, лучше сказать, — «клише» отношений, семейная жизнь его — фикция — привычный отель с мягкой постелью. Вся боль раздвоенности,

весь огонь чувств, всю трагедию свою он укрывал под «маской строгой».

Вечно повторяющиеся слова его стихотворений — фатальные, знаменательные, исчерпывающие — проходили мимо внимания современников не отмеченными или назывались «реторикой».

— Ну что общего у этого манекена в черном сюртуке со «страстью», «отчаянием», «безумием», «алчбой», «трепетам» и «гибелью»?

Было признано в 1905 году пресловутое *бальмонтское безумие*, возникающее на дне третьего стакана. Бальмонт «творил из жизни поэмы» по кабакам и канавам арбатских переулков, а Брюсов в это время «заседал», копался в архивах и «рыскал по оккультным подозрительным произведениям», собирая материалы для «Огненного ангела» (в кавычках фраза А. Белого из «Воспоминаний о Блоке»). А. Белый писал о нем чепуху и смущал отдаленного, в себе замкнутого Блока; Сергей Соловьев гомеически, чисто по-соловьевски им упивался лишь как поэтом; Ходасевич, прекрасный друг моего прошлого, ядовито эстетически «наблюдал». За столами, крытыми зеленым сукном, стояли его троны, стояла уже перед ним на задних лапах реакционная критика, дамы заучивали наизусть его строчки, редакции по-лакейски распахивали двери, толпа при его появлении в публичных местах смущенно замолкала. Пышный «Stephanos» короной венчающей ложился на его голову, а Валерий Брюсов как человек оставался мифом, провинциальной легендой на демоническую тему, сочиненной А. Белым. (<...>)

ИЗ ПИСЕМ БРЮСОВА К ПЕТРОВСКОЙ

(1906—1909)

<Москва.> 27 мая 1906

Мне нужно какое-то воскресение, какое-то перерождение, какое-то огненное крещение, чтобы стать опять самим собой, в хорошем смысле слова. Куда я гожусь *такой*, на что нужен! Машинка для сочинения хороших стихов! Аппарат для блестящего переложения поэм Верхарна! Милая, девочка, счастье мое, счастье мое! Брось меня, если я не в силах буду стать иным, если останусь тенью себя, призраком прошлого и неосуществленного будущего. Неужели в 32 года пережил я всю свою жизнь, обшел весь круг своих возможностей? Я столько смеялся над Бальмонтом, неужели же я на себе испытаю его участь?

<Москва.> 2 июня 1906

Состояние души моей не улучшается, а делается все хуже и хуже. Чувствую полное бессилие. Мой верный термометр, мое стихотворное творчество, упал очень низко: со дня твоего отъезда я не написал ни одного стиха. Да и вообще с января я вряд ли написал больше десяти стихотворений, очень умеренного достоинства. Перестать писать стихи для меня совершенно равносильно духовной смерти. А я перестал писать стихи. Ты пишешь мне: работай. Я ничего не могу работать. С большим усилием над собой делаю я кое-что по библиографии для нового издания Пушкина, затеянного Брокгаузом; больше ни на что не способен...

5 июня 1906. Москва

При всех своих падениях и замираниях, в общем я жил жизнью очень напряженной, если <не> во внешнем, то во внутреннем. Все сделанное мною (а кое-что мною сделано-таки) досталось мне вовсе не даром. И вот настал час, день, когда идти дальше по той дороге, по которой я шел, некуда. «Urbi et Orbi» дали уже все, что было во мне. «Венок» завершил мою

поэзию, надел на нее воистину «венок». Творить дальше в том же духе — значило бы повторяться, перепевать самого себя. Это может Бальмонт, я этого не могу. И вот, в этот страшный час распутия, ты мне говоришь о любви, о нежном счастье. Я должен все силы своей души направить на то, чтобы сломать преграды, за которыми мне откроются какие-то новые дали, — чтобы повернуть своего коня на новый путь. У меня сейчас не может быть сил ни на что другое. Приди ко мне с волшебным жезлом, открывающим эти новые пути, — и я пойду за тобой. Ах, то воистину должен быть волшебный жезл, воистину новые слова: не слова о безумии, которые я сам говорил слишком часто, не слова о нежном счастье, которое хотя — и на миг — мы извели с тобой вместе, и уж конечно не слова из революционного словаря, годные для младенцев вроде твоего Сережи. Есть какие-то истины — дальше Ницше, дальше Пшибышевского, дальше Верхарна, впереди современного человечества. Кто мне укажет путь к ним, с тем буду я.

10 июня 1906, Москва

Есть два круга вещей, о которых мы никогда или почти никогда не говорим с тобой: один очень «низкий», другой очень «высокий». Это — обычные деления, не мои; сам я не делю вещи на «высокие» и «низкие», — мне все кажутся равными, равно важными, равно достойными. Но медленно и систематически ты не давала мне заговаривать о многом и свела все наши разговоры к одной теме: нашей любви. Вот почему мне так трудно теперь ответить на твое последнее письмо (письмо милое, хорошее, желанное — я уже сказал). Мне придется начать издали. Мне придется (и это прости мне) вызвать несколько воспоминаний этой зимы, мучительных, — одни для тебя, другие для меня. Но ведь надо же высказаться; ведь многое мы посмели сказать друг другу; останемся смелыми!

Думаешь ли ты, что я забыл, что ты не стала читать моей последней книги? Знаю, все знаю, все помню. Но то был жестокий удар для меня. Ты не знаешь, сколько нитей оборвала ты тогда между моей душой и твоей... Но это было только начало. Ничего из того, что я писал после, не пришлось тебе по душе: ни новые мои стихи, ни рассказы, ни статьи. Тебе все это не нравилось или по крайней мере нравилось далеко не так, как многое в моих прошлых книгах. Возможно, что ты права; возможно, что я пишу хуже, чем прежде. Но ведь мне-то эти мои стихи, рассказы, статьи — дороги; я-то ведь не считал их плохими! И опять и опять обрывались нити между нашими душами. Но вот однажды я заговорил с тобой вообще о поэзии, о том, о чем сам с тобой я говорю всегда. Это было, помнишь, днем, на бульваре... Я испугался той пропасти, которая оказалась между нами. Ты подняла руку на самые заветные мои убеждения, оскорбила самые святые мои верования. И опять-таки возможно, что права ты, а я не прав. Возможно, что в искусстве высказываемые мысли важнее, чем художественное значение произведения. Но я-то ведь в это поверить не могу! Для меня-то ведь единственным мерилom в поэзии (а впрочем и везде, во всем) останется художественность. Мне, художнику, партийная нетерпимость кажется вздорной²⁷, а оскорбление прекрасного стиха — оскорблением моего божества. И после того дня последние нити, связывавшие нас в том мире, оборвались, и я стал думать, что мы с тобой там — чужие. Ибо никогда, никакие мучительства жизни, никакое изнеможение не убьет и даже не притупит в моей душе поклонения поэзии. Я могу утратить способность писать стихи, но не могу перестать упиваться ими. Отказаться читать книгу любимого поэта из-за личных отношений; бранить стихи, потому что не согласен с высказываемыми в них мыслями, — это для меня столь же невозможно, непонятно, чуждо, как ощущение иного, нежели я, существа. И когда ты обращаешь ко мне такие слова, прекрасные, пьянящие, увлекающие, как в последнем письме, мне хочется вырваться из

их опьянения, из их соблазна, и сказать тебе: Да полно? да разве мы не чужие здесь? разве мы не враги здесь?

Нина! Нина! Ты знаешь меня и знаешь, что я много лицемерю: жизнь приучила меня притворяться. И в жизни, среди людей, я притворяюсь, что для меня не много значат стихи, поэзия, искусство. Я боюсь показаться смешным, высказываясь до конца. Но перед тобой я не боюсь показаться смешным, тебе я могу сказать, что и говорил уже: поэзия для меня — *все!* Вся моя жизнь подчинена только служению ей; я живу — поскольку она во мне живет, и когда она погаснет во мне, умру. Во имя ее — я, не задумываясь, принесу в жертву все: свое счастье, свою любовь, самого себя. Но в том мире я всегда был одинок, и ты не отучила меня от этого одиночества. Прислушиваюсь к ласкательным словам твоего письма, но не знаю, где найти в душе своей веру в них. Было время меня хулили *все!*; теперь меня хвалят журналы. Но, должно быть, у меня еще не было читателей. Мои читатели еще носятся «по небу полуночи» в объятиях ангелов. С моими читателями мне не придется говорить. С ними будут говорить только мои книги.

⟨Москва.⟩ Ночь с 13 на 14 июня 1906 г.

Когда это началось? Давно, о давно! Теперь я начинаю думать, что еще до моей встречи с тобой. Вероятно к тому времени, когда я закончил «Urbi et Orbi». Что-то было изжито. Какой-то рудник, который другому мог хватить надолго, был мною исчерпан, потому что я не разрабатывал его, а грабил. Я выхватывал из него слитки и губил золотоносные жилы. И вот — слитков более не оказалось. Оставалось или искать новой шахты, или заняться пересмотром ранее отброшенного, ранее отвергнутого, как менее богатого. Помню, верно помню: я переживал тогда именно то, что и теперь: изнеможение, бессилие, неспособность к творчеству, желание убежать, скрыться, утаиться, чтобы меня не заставили думать, действовать, а прежде всего *чувствовать*. Помню, было уже совсем решено, что я уеду на год в деревню. Даже велись уже переговоры с неким Ачкасовым, чтобы снять какое-то имение... И вдруг пришла — ты, как что-то новое, неожиданное, несбыточное, о чем мечталось давно и что вдруг осуществилось. Пришла любовь, о которой я только писал в стихах, но которой не знал никогда; пришла женщина, о которых я только читал в книгах (в твоём Шибишевском), но не видал никогда. Ты мне часто говорила, что тот год был воскресением для тебя; но он был и для меня воскресением. У меня вдруг открылись глаза, сделались в сто раз более зоркими; в руках я почувствовал новую силу. Я вдруг увидел вокруг вновь сокровища, которых мой прежний взор не различал; получил возможность разбивать такие таящие золото камни, на которые прежде не смел поднять руки. Я сказал себе: «Безумец! ты считал себя нищим! но смотри! видишь! твой рудник еще полн богатством! бери лом, заступ, добывай, торжествуй!» Ты знаешь, что я это сделал. Я собрал снова целую книгу золотых слитков, там, где, казалось, не было ничего, кроме песка и осколков камней... Но я ошибся. Рудник мой был все же уже опустошен. Скоро, очень скоро поднял я последнюю блестку, — и вот опять стою в пустоте, в разоренной, опустошенной шахте...

Длинное это сравнение я не выдумал: оно пришло само на мысль и оказалось совпадающим с жизнью во всех мелочах. Два года назад я был в своей душе слепым нищим; теперь я зрячий нищий — в этом вся разница, и только (или почти только) в этом. Я не могу более жить изжитыми верованиями, теми идеалами, через которые я перешагнул. Не могу более жить «декадентством» и «нипшеанством», которые верю я, верю — и тебе уже чужды, хотя ты и говоришь иное (тоже из желания противоречий? да?); в поэзии не могу жить «новым искусством», самое имя которого мне

нестерпимо более. Хорошо Мережковскому, который перепархивает с пушкинианства на декадентство, с декадентства на язычество, с язычества на христианство, с христианства на религию троицы или духа святого. Ты когда-то сказала, что я по душе — инок, монах, в средние века я пошел бы в монастырь. Да! да! Я должен верить в то, чему служу, совсем, до конца, и должен служить чему-то. Я притворяюсь скептиком, но

Тяжелый труд нам кем-то дан,
И спросит властно он отчета... 28

Так, как сейчас, я не могу жить: без бога, без алтаря. И не могу поставить себе «какого-нибудь» бога, наскоро смастеренного, чтобы только было перед кем возжигать фимиамы.

Висби, 27 июня 1906, с. с.

Дней десять как я уехал из Москвы, и за это время я не написал тебе ни строчки <...>

Есть в Балтийском море остров Готланд; низменный, плоский, известковый. В средние века на нем был могущественный город Висби. В XIV веке датчане взяли его приступом и разрушили до основания. Он никогда не мог оправиться. Теперь это груды торжественных и величественных развалин — стен, храмов, дворцов, — в которых ютятся жалкие хижины современных жителей да десяток домов новой архитектуры: гостиницы, банки, казармы... Над городом почти южное солнце. Кругом чахлая, хотя и тщательно поддерживаемая, растительность. По улицам, по дорогам, везде кругом — столбы, вихри, тучи известковой пыли. Пыль покрывает деревья сероватой пеленой; пыль закрывает небо; пыль осыпает идущего с ног до головы; пыль набивается в нос, в рот, в глаза, душит, слепит... Остается только одно: бежать к морю, к самому морю, на прибрежный камень, и там под яростным солнцем, но под свежим веяньем из дали — лежать и смотреть в безбрежность <...>

Я испытываю омертвление души, словно она — мертвая, а жив я без нее. Я вижу море, на которое когда-то мы смотрели с тобой, на которое когда-то я смотрел детски-дерзкими глазами, и вспоминаю и помню, какой жизнью, каким трепетом наполняло оно меня! Ведь оно не изменилось, ведь оно то же, мощное, великое, прекрасное, как в мою юность, как в дни юности мира: почему же нет этой юности, мощи и красоты во мне! Разве я не хочу быть молодым? разве я не хочу быть красивым? Но моя душа — бессилие, прах, тлен, переживание прошлого, отживание последних зеленых листочков. Но неужели же мне в жизни лежать упавшим деревом, над которым будут свиваться молодые лианы и разрастаться новые побеги?

Saint-Jean-de-Luz, 2 octobre 1908

Что до меня, я все еще ни за что не принимаюсь. Перевожу, понемногу, скучную и риторическую «Елену» (однако II и III акты гораздо выше I)²⁹; написал какую-то статейку в ответ критикам (для тебя ничего нового); перебираю и раскладываю по отделам свои старые стихи (новых не пишу). Без малейшего преувеличения мне начинает казаться, что для меня самое лучшее бросить всякие попытки к «творчеству». Буду я мирно жить в стороне от большой дороги литературы; критики не будут меня ругать последними словами; издатели журналов и альманахов перестанут, с ножом у горла, спрашивать с меня статей: не райское ли житье? И я буду, как ветеран, удалившийся со службы, поощрять молодежь на новые под-

Н. И. ПЕТРОВСКАЯ

Фотография, 1914

Собрание Н. В. Котрелева, Москва



виги или, что чаще бывает, брюзжать по-старчески на всякое новое начинание...

Прости, что серьезные слова у меня свелись на шутку; но обо всем этом мне тяжело говорить только серьезно.

Москва, 8/21 ноября 1903

За эти четыре года целые миры обрушились в наших душах. Что в них осталось прежнего? — Только те стихии, из которых они созданы. Не прежними <мы> должны быть, а новыми. Не в прошлом и не прошлым надо нам жить: в настоящем и современности. Надо смело смотреть в глаза судьбе, которая ведет, влечет нас, заставляет нас изменяться и все изменяет вокруг нас. И вот в этих переменах и изменах оставаться всегда близкими друг к другу, вечно и непобедимо, роковым образом связанными — вот чего я хочу и ищу. Если твои слова «я та же, как 4 года назад» значат, что ты по отношению ко мне та же, что ты так же влечешься ко мне, как тогда, — я эти слова приветствую, благословляю их, благодарю за них. Но если ты хочешь сказать: «я все „та же“, я не изменилась, мои чувства, желания, ожидания не изменились», — мне придется опустить голову и сказать тихо: но я — изменился, но я — не тот же, и не могу стать прежним, на четыре года уйти назад <...>

Но я, наконец, узнал себя, понял (как начинают, увы! узнавать, понимать эту мою особенность и гг. литературные критики!) Да, я могу любить глубоко, быть верным в лучшем смысле слова, но я не могу, не способен — отдаться любви, броситься в нее, как в водоворот, закрыть глаза, дать стремить себя потоку чувства. Я знаю, я верно знаю, что это и есть «то, что люди называют» счастьем. Но я уже не ищу счастья, не жду его, и мне его не надо. К иному иду я, не знаю, большему или меньшему, но к иному. Таким я стал (хотя я в сущности таким всегда и был), таким надо принять меня теперь, ибо иного меня — нет <...>

Ты спрашиваешь меня, приеду ли я в Париж. Вот точный, искренний и подробный ответ.

Здесь, в Москве, нашел я страшный разгром всего того дела, которое привык считать своим. «Весы» медленно погибали и должны были прекратиться к январю. Все враждебные нам и мне партии подняли голову. «Руно» было сильно как никогда. Г. Чулков выпустил книгу статей, направленных против нас³⁰. Возникло 3 или 4 журнала, явно нам враждебных. Все газеты были против нас. Крохотный кружок, уцелевший около «Весов», явно распадался. Белый, конечно, тянул куда-то в сторону. Эллис тоже. Даже во внешнем, при первых столкновениях, я тотчас увидел, как все повернулось к нам враждебной стороной. Где прежде я имел абсолютный вес, меня слушали только из вежливости. Не буду рассказывать разных фактов. Довольно одного. В члены нашего Литературно-художественного кружка баллотировалось трое сотрудников «Весов» — М. Ф. Ликиардопуло, Эллис, М. Шик. Все трое большинством голосов были *забаллотированы*.

Я много раз говорил тебе, что «Весы» мне надоели, что я хотел бы отказаться от заботы об них. Но видя такое неожиданное и стремительное крушение всего, что я делал в течение пятнадцати лет; видя, как внезапно все значение, вся руководящая роль переходит в литературные течения, мне и моим идеалам враждебные; видя, как торжествуют те, кто, в сущности, обокрал меня и моих сотоварищей, — я не мог не изменить решения. Я не могу еще сложить руки и сказать: вот я, берите меня, грабьте мое добро и топчите меня ногами. Я могу уйти в сторону, когда положение обеспечено, но сделать это именно в час разгрома — и нечестно и нестерпимо для меня. Я решил бороться во что бы то ни стало. Я решил в 1909 г. так или иначе, но издавать «Весы» или другой журнал и удерживать за своими идеями в литературе то место, какое им надлежит.

Ты понимаешь, это такое *(положение)* * требует с моей стороны сейчас величайшего напряжения энергии. С. А. Поляков — за границей и продолжать «Весов» не хочет. Другого издателя нет. Все друзья и союзники готовы продать и «Весы» и меня за 30 серебрянников или и дешевле. Чтобы снова все сплотить, все устроить, все повести — надо не выпускать вожжей и нитей всяких интриг ни на минуту. И вот я в самом таком разгаре всяких неизменнейших дел и отношений, в которых снова задыхаюсь, как в душной тюрьме, но бросить которые не могу, не хочу, не должен. И ты понимаешь, что, даже при успехе, месяца два-три, пока не наладится все опять, — у меня не будет возможности покинуть Россию на долгое время.

⟨Москва. Ноябрь 1908 г.⟩

... Возвращайся в Париж, но не как в проклятое место ссылки, а как в город прекрасный, многообразный, близкий всем, кто чувствует жизнь, жизнь прошлую и настоящую. Возвращайся в Париж — живою, не мертвой! Не для того, чтоб что-то отыскивать, но чтоб открыть душу новым впечатлениям (...)

Ты помнишь, я несколько раз говорил тебе: «необходимо, чтоб у тебя была цель в жизни вне меня». Мне до сих пор это кажется самым верным определением того, чего не достает тебе. Да, прекрасно, если двое ставят всю цель своей жизни друг в друге — как Паоло и Франческа. Бывало я заклинал свою судьбу:

О дай мне жребий тот же вынуть! ³¹

* В автографе ошибочно: напряжение

ПЕРВАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ РОМАНА
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»

Начало романа с заставкой
Мориса Дени
«Бесы», 1907, № 1

ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

ИЛИ ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ, ИЗ КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ДЬЯВОЛЕ, НЕ РАЗЪЯВЛЯЕМОМЪ ВЪ ОБРАЗЕ СВЯТАГО ДУХА
ОДНОЙ ДѢВУШКЕ И СОКЛОНЕННЫМЪ ЕЕ НА РАЗНЫХЪ ГРЕ-
ХОВНЫХЪ ПОСТУПКЕИ, О КОТОРЫХЪ ЗАНИМАЮТЪ МАГІИ,
АЛХИМІИ, АСТРОЛОГІИ, КАББАЛИСТИКІИ И НЕКРОМАНТИИ,
О СРЪДЪ НАДЪ ОНОЙ ДѢВУШКОЮ ПОДЪ ПРЕДСѢДТЕЛЬСТВОМЪ
ЕГО ПРИХОДОМЪ АРХИЕПИСКОПА ТРИРСКАГО,
А ТАКЖЕ О ВСТРѢЧАХЪ И БЕСѢДАХЪ
СЪ РЫЦАРЕМЪ И ТРИЖДЫ ДОКТОРОМЪ
АГРИППОМЪ ИЗЪ НЕТТЕСГЕЙМА
И ДОКТОРОМЪ ФАУСТОМЪ,
НАПИСАННАЯ
ОЧЕВИДЕЦЕМЪ.



ПРЕДИСЛОВІЕ
РУССКАГО ИЗ-
ДАТЕЛЯ. ♦♦♦♦

Предлагаемая читателямъ
повѣсть XVI вѣка дошла до
насъ въ единственной рукописи,
находящейся въ книгѣ въ частныхъ ру-
кахъ. Ея издѣвецъ, — благодаря лю-
безности котораго мы имѣемъ возмож-
ность обнародовать русский переводъ ра-
нѣе позволенія въ печати подлинника, — замѣ-

Но мне этот жребий не выпал, теперь уже нельзя сомневаться. Могу о себе сказать теперь другими словами, словами моего Одиссея:

Я — доброволец меж рабов...³²

Но та, кому я рабствую, это все же божество, ибо ее имя — моя поэзия.

⟨Москва.⟩ 22 дек./4 января 1908—9 г.

Во всяком деле есть две стороны: внутренняя и внешняя, душа и техника. Не решаюсь ничего говорить тебе о лучшей, о истинной стороне той работы, которую ты могла бы взять на себя. Я верю, что если ты захочешь писать и напишешь то, чем будешь довольна сама (хотя бы сколько-нибудь, ибо никто из нас никогда не бывает вполне удовлетворен сделанным им), ты мне первая скажешь об этом. Но о второй, внешней стороне — я себя считаю вполне вправе говорить. Я всячески советую тебе — не презирай ее, не отвергай. Работай хотя бы уже только потому, что работа — дисциплина души, какой-то механической силой вносящая в душу стройность, гармонию. Я это испытывал лично так много раз, что смею сказать тебе, повторить тебе старое слово из детских прописей: работай!

⟨Москва.⟩ Декабрь 1908 — Январь 1909.

Ты говоришь, что в том уединенном городке «можно будет работать», но, конечно, сама понимаешь, что это — слова без содержания. Французской писательницей ты никогда не станешь, сколько ни изучай француз-

ский язык; русской писательницей нельзя быть, живя в глуши французской провинции, отрезанной от всех центров русской жизни. <...>

Скажу прямо и просто. Я всегда думал, что твоя жизнь за границей будет лишь *временной*, что *жить* ты вернешься в Россию. По глубокому моему убеждению жить русскому человеку, а особенно русскому писателю, возможно только в России. Россия нам нужна как наша стихия: вне ее мы временно дышим даже бодрее, словно в атмосфере, где более кислороду, но потом задыхаемся и жаждем вернуться в родной воздух. Вспомни последние годы Тургенева и его томление вне России. Прочти последнюю книгу Бальмонта (которую я тебе посылаю)³³ и особенно его поэму «В белой стране». Ты увидишь, поймешь, что значит быть *без* России, без той России, которую все мы клянем и клеймим последними словами. Я всегда думал, что ты в Россию *вернешься*.

<Москва.> 4 января 1909

Начать «новую жизнь» можно только восходя на *высшую* ступень лестницы. Душа или идет *вперед* или погибает. Это — закон. Движение остановившееся равно смерти. Кто хочет жить, того сила самосохранения заставляет становиться прекраснее, выше, благороднее. Совершенствование не моральное требование, но внутренняя потребность духовного организма. Наступает миг, когда путь перерезается пропастью. Нельзя идти в сторону или назад, должно обрести крылья и лететь.

<Москва.> 12/25 января 1909

А музеи ты все-таки посети: право, стоит. Хотя бы Лувр и Люксембургский. Все же там собраны создания единственные, которых дважды человечество не создает. Заставь себя встать раньше 9 и поезжай. Я не верю, чтобы было такое состояние души, которого не преодолет нежная ласковость фресок Боттичелли (на лестнице Лувра) или роскошь Веласкеса. Сделай это для меня, — очень прошу.

<Москва.> 19 janvier 1909

Тебе необходимо вновь изменить жизнь, решительно и, на этот раз, окончательно. *Волю* к этому ты должна найти в самой себе, ибо нигде больше этой воли обрести нельзя. Жить тебе надо в России, ибо ты — русская, ибо ты — русская писательница, ибо в России живу я. Жизнь твоя должна быть деятельной, ибо без деятельности нет жизни, и деятельностью твоей должна быть литература, ибо у тебя есть на это права и все данные.

За каждым из этих итогов, за каждой из этих мертвых формул — ты можешь вспомнить целые страницы моих писем, где то же говорю я языком не мертвым, но со всей страстью, со всем порывом, какой только можно вложить в писанные строки.

<Москва.> 25 января (7 февраля) 909

Я давно ничего не писал тебе о себе. Да и нечего было. С. А. Поляков приехал и вскоре захворал; потом он выздоровел и захворала его жена. В общем видел его всего раз — часа на два. Сколько кажется, положение определилось такое: «Весы» издаваться будут, но я не буду их редактировать. Остаюсь лишь одним из «ближайших сотрудников». Редактировать официально берется сам Сергей Александрович, но сведется это, конечно, к тому, что будут «Весы» выходить под редакцией М. Ф. Ликиардопуло. Думаю, что от этого они *не станут хуже*, чем были, потому что все в них заведено на несколько лет. Но, разумеется, они *не станут лучше*, а это — смертный приговор. Живо только то, что идет вперед, что становится «лучше». Что же делать! Более я не могу приносить себя, свою душу, свою деятельность и свою гордость в жертву «Весам».

Оставив «Весы», я занялся приготовлением к печати разных, давно задуманных книг. В течение 1909—1910 года хочу напечатать их *двенадцать* (считая вторые издания «Ангела» и «Оси»). Не правда ли, достаточно? Пишу повесть «Семь смертных грехов» — из «будущей» жизни, о которой говорят, что я в ней специалист³⁴.

⟨Москва.⟩ 29 январь — 11 февраль 1909

Я стал очень взрослым, очень серьезным и (знаешь ли) «мудрым». Так мне все ясно в этом мире и в этой жизни. Я могу начать и жить и творить. Да будет продлена моя жизнь, — моя новая молитва.

⟨Москва.⟩ 30 января — 12 февраля 1909

Сегодня вечером должен читать в «Эстетике» отрывок из моей статьи о «Медном Всаднике». Не хочется мне этого очень. Настроение — совсем не для публичных выступлений. Да и статьи-то, строго говоря, еще нет: одни подготовительные наброски. Но как откажешься, когда билеты проданы и сколько-то людей ждет выступления Валерия Брюсова, как некоего зрелища. Покорствую.

⟨Москва.⟩ 31 января/13 февраля 1909

Всю жизнь мечтаю я о спокойном, усердном труде. И вот за 35 лет жизни не мог добиться того, чтобы осуществить свою мечту. Всегда какие-то обстоятельства заставляют меня работать лихорадочно, торопливо, печатать начало, когда не написан конец, сдавать в печать вещи не обработанные, не обдуманые... Клянусь, Бальмонт, которому это вовсе не нужно, имеет гораздо больше возможностей работать над своими произведениями, нежели я.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Аким Львович *Волынский* (Флексер, 1863—1926) — литературный критик и искусствовед, представитель идеалистической эстетики. Ему принадлежит крайне резкая оценка сборника «Urbi et Orbi»: обвинив автора в «искусственности», «надрыве» и «безвкусной претензии», Волынский утверждал, что «Брюсов хочет быть декадентом во что бы то ни стало», поскольку «декадентство становится как бы чем-то обязательным для утонченного современного поэта» (А. Л. Волынский. Книга великого гнева. СПб., 1904, стр. 436, 437).

² Из стихотворения Брюсова «Поэту» (1907; *Все напевы*).

³ Семен Борисович *Любошиц* (1859—1926) — московский журналист. Его выступления часто носили скандальный характер — таким было его возражение на доклад Брюсова «Искусство и жизнь. О поэзии Фета» (см.: *Дневники*, стр. 129, 183). Выражение «стиль Любошица» Брюсов употреблял для определения скандальности и беспринципности в полемике (там же, стр. 132).

⁴ Сергей Викторович *Яблоновский* (Потресов; 1870—1954) — литературный критик, сотрудник газеты «Русское слово»; выступал со статьями и фельетонами, направленными против символистов; после Октябрьской революции эмигрировал.

⁵ О повести Кузмина «Крылья» см. наст. том, стр. 689 и 299.

⁶ Сергей Абрамович *Ауслендер* (1888—1943) — писатель; его рассказы с 1906 г. печатались в журналах «Золотое руно», «Аполлон», в изд-ве «Гриф». Ауслендеру посвящен сборник рассказов Петровской «Sanctus amor».

⁷ Об О. И. Дымове см. наст. том, стр. 486.

⁸ О журнале «Перевал» см. наст. том, стр. 497, 690.

⁹ «Зачарованный грот» — название цикла стихов в сборнике Бальмонта «Будем как Солнце» (М. «Скорпион», 1903).

¹⁰ Из стихотворения Бальмонта «Я полюбил свое беспутство...» (там же).

¹¹ О романе С. Пшибышевского «Ното sapiens» см. наст. том, стр. 436.

¹² Монна Ванна — героиня одноименной пьесы Метерлинка (1902), поставленной в театре Комиссаржевской в сезон 1902—1903 гг. и затем обошедшей сцены почти всех больших русских городов.

¹³ Петровская описывает пребывание Блока в Москве, продолжавшееся с 10 по 24 января 1904 г. (см.: Александр Блок. Записные книжки. М., 1965, стр. 58—60).

¹⁴ Премьера спектакля «Вишневый сад» в Московском Художественном театре состоялась 17 января 1904 г.

¹⁵ Из стихотворения Брюсова «И снова я, простерши руки...» (1911; *Зеркало теней*).

¹⁶ Элевзинские мистерии — ежегодные религиозные празднества в древней Греции в честь богини Деметры, сопровождавшиеся драматическими представлениями и ритуальными танцами.

¹⁷ Из стихотворения Брюсова «Обряд ночи» (1905—1907; *Все напевы*). Неточность в приведенной цитате исправлена по *Собр. соч.*, т. I.

¹⁸ Опера Д. Пуччини «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») в России была впервые поставлена в Оперном театре С. И. Зимина 25 января 1911 г.

¹⁹ Премьера спектакля Московского Художественного театра «Братья Карамазовы» состоялась 12 октября 1910 г.; спектакль продолжался два вечера.

²⁰ Пьеса Андреева «Жизнь Человека» была впервые поставлена в Московском Художественном театре 12 декабря 1907 г.

²¹ Портрет Брюсова работы М. А. Врубеля принадлежал издателю «Золотого руна» Н. П. Рябушинскому и висел в редакции журнала (ныне хранится в Гос. Третьяковской галерее). Брюсов считал первоначальный набросок портрета (см.: *ЛН*, т. 27-28, стр. 251) «гораздо замечательнее того, что мы видим теперь» и находил, что в процессе дальнейшей работы Врубель «много испортил» (*За моим окном*, стр. 19, 22). Тем не менее, встречу с Врубелем он считал «в числе удач жизни» (*Дневники*, стр. 137) и, по-видимому, высоко ценил его работу: «У меня есть снимки с прекрасного портрета Врубеля, — писал он 27 июля 1907 г. Ф. Ф. Фидлеру, — портрета, которым по справедливости горд» (ЦГАЛИ, ф. 2567, оп. 2, новое поступление). Не исключена возможность, что Брюсов не сочувствовал намерению Петровской и сам предупредил Рябушинского о предполагаемом покушении.

²² Из стихотворения Брюсова «Поэту» (1907; *Все напевы*).

²³ Из стихотворного цикла Бальмонта «Антифоны» (сб. «Горящие здания», 1900).

²⁴ Петровская полемизирует с характеристикой, которую дает Брюсову А. Белый в своих воспоминаниях «Начало века» (журн. «Эпопея», 1923, № 2, стр. 158—159). Об отношениях Брюсова и Белого см. наст. том, стр. 327—346.

²⁵ Из стихотворения Брюсова «И снова я, простерши руки...» (1911; *Зеркало теней*).

²⁶ Из стихотворения Брюсова «О себе самом», 1917; должно было войти в сб. «Девятая Камена». В сб. *Последние мечты* не вошло.

²⁷ Ошибочная позиция Брюсова в этом вопросе наиболее полно отразилась в его попытке полемизировать со статьей В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» (ст. «Свобода слова». — «Весь», 1905, № 11). См. об этом: *ЛН*, т. 27-28, стр. 188.

²⁸ Неточная цитата из стихотворения Брюсова «В ответ» (1902; *УО*).

²⁹ О работе Брюсова над переводом трагедии Э. Верхарна «Елена Спартанская» см. наст. том, стр. 575—584.

³⁰ По-видимому, Брюсов имеет в виду сборник статей Г. И. Чулкова «Покрывало Изыды» (СПб., 1909; книга вышла в конце 1908 г.).

³¹ Из стихотворения Брюсова «Антоний» (*St*).

³² Из стихотворения Брюсова «Одиссей» (1907; *Все напевы*).

³³ К. Д. Б а л ь м о н т. Птицы в воздухе. Строки напевные (Пб., «Шиповник», 1908).

³⁴ Повесть «Семь смертных грехов» осталась неоконченной. Ее начало было опубликовано в *СЦ*—1911.

В. В. ФЕФЕР

БРЮСОВ В «ШКОЛЕ ПОЭТИКИ»

Публикация А. М. Смирновой

Предисловие и примечания И. Ф. Кунина

Владимир Васильевич *Фефер* родился 28 февраля 1901 г. в семье служащего в поселке при станции Грязи Юго-Восточной ж. д. Среднюю школу окончил в гор. Липецке, недолгое время посещал лекции на юридическом факультете Воронежского университета. Несмотря на крайнюю молодость, сам выступал с лекциями по литературе и искусству перед красноармейцами и школьниками, был инструктором Липецкого РОНО; служил в Тамбовском губземотделе. В начале 1921 г. переехал в Москву и занялся учебой и литературным трудом с той деятельной энергией, какая отличала его во всем, за что бы он ни брался, будь то просветительская, организационная или журналистская работа. Простор для приложения сил был велик.

К сожалению, его литературное дарование не развернулось так полно, как этого можно было тогда ожидать. Оставленный после окончания Высшего литературно-художественного института им. Валерия Брюсова при кафедре прозы К. Г. Локса, он, казалось, получил желанную возможность приобщиться к настоящей художественной культуре. «Владимир Васильевич *Фефер*, работая у меня в течение трех лет в мастерской прозы, известен мне отличными способностями как в области теоретической, так и художественно-практической, — писал о нем в своем отзыве для комиссии ВЛХИ К. Г. Локс. — Соединение этих данных представляется мне чрезвычайно ценным и плодотворным именно для работы в ВЛХИ, ставящем себе целью сознательное овладение художественной практикой». Исследования молодого писателя в области композиции юмористической новеллы отметил профессор М. А. Петровский; будущего теоретика прозы видел в нем Я. О. Зунделович. Но институт был переведен в Ленинград и вскоре слит с факультетом языка и материальной культуры ЛГУ, а оставившись в Москве В. В. *Фефера* поглотили литературные и житейские заботы. Вместе с Н. Я. Москвиным-Воробьевым он писал приключенческие романы с «продолжением» для тонких журналов, стал постоянным сотрудником иллюстрированного массового журнала «Экран», позднее — «Огонька», «Прожектора», «30 дней», «Наших достижений», газет «Вечерняя Москва», «Читатель и писатель» и многих других. С конца 20-х годов он служит в киноучреждениях (Киноиздательство РСФСР, Межрабпомфильм, Комитет по делам кинематографии при СНК СССР), одно время работает секретарем у С. М. Эйзенштейна. Тогда же начинает писать воспоминания о нем, по-видимому, не сохранившиеся. Почти все его отдельно напечатанные работы связаны с кино. Это очерк «Эмиль Яннингс» (М., «Кинопечать», 1926), книга, написанная совместно с Ю. Коноваловым, «Рождение советской пленки. История Переславльской кино-пленочной фабрики» (М., Гизлегпром, 1932) и составленный вместе с Вен. Вишневским обширный справочник «Ежегодник советской кинематографии за 1938 г.» (М., Госкиноиздат, 1939).

С начала Великой Отечественной войны В. В. *Фефер* работает газетным корреспондентом, в 1943 г. добровольцем вступает в Красную Армию; в качестве рядового связиста и агитатора участвует в боях на территории Польши и Германии, в составе гаубичной артиллерийской бригады — в штурме Берлина. На фронте вступает в партию. Дважды контуженный, с основательно подорванным здоровьем, он возвращается после войны к деятельности в просветительных учреждениях. «Агитационно-массовая работа общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР» (М., изд. Редакционно-издательского отдела Исполкома СОКК и КП СССР, 1951), вышедшая под прозрачным псевдонимом «В. Васильев», — его единственная послевоенная книга. Но главной его

работой становится работа над воспоминаниями — о войне («Москва — Берлин. Заметки агитатора»; объем около 25 авт. листов; не изданы), о литературной жизни 1920-х годов.

Публикуемые здесь мемуары извлечены из машинописного экземпляра, значительно большего по объему (около 8 авт. листов). Они раскрывают почти забытую страницу истории литературного образования тех ранних революционных лет. Ценность их возрастает от того, что они написаны не только умным и наблюдательным свидетелем, но и прямым участником всего происходящего. Речь идет о Поэтическом техникуме («Профессионально-технической школе поэтики»). Он просуществовал недолго (всего одно полугодие 1921—1922 г.), не выдвинул особенно известных имен, но был, на мой взгляд, характерен в своих несколько наивных, порою забавных, порою, наоборот, серьезных и даже прекрасных чертах для атмосферы времени.

Техникум помещался в доме № 24/27 на углу Садово-Кудринской и Спиридоньевской (ныне Алексея Толстого) улиц, на первом этаже, в коммунальной квартире № 1. Там я познакомился с Фефером, тоненьким и высоким голубоглазым юношей, автором миниатюрных рассказов в духе, пожалуй, раннего Чехова. Наша дружба, не тесная, но сердечная, длилась до последних лет и месяцев его жизни; воспоминания о техникуме он читал мне по мере написания. Они привлекали насмешливой наблюдательностью, свежим юмором и при этом почти неизменно господствующим тоном доброжелательности. Материалы для них он начал собирать еще в далекие годы, так что, например, портреты-характеристики товарищей по техникуму (опущенные в публикуемом тексте) расцветчивались выдержками из их поэтических опытов, давно затерянных самими авторами, но сохраненных заботливым мемуаристом. Смерть помешала ему написать третью книгу мемуарного характера — о Высшем Литературно-художественном институте им. Валерия Брюсова. Он умер 27 сентября 1971 г. после долгой тяжелой болезни.

В публикуемых мемуарах автор часто выступает как художник, широко используя образность, вводя в повествование выразительные, «говорящие» детали, и лишь ближе к концу оснащает текст выдержками из статей и выступлений Брюсова. Учитывая тематическую определенность данного тома, мы опустили главы, не имеющие прямого отношения к Брюсову. Небольшие сокращения сделаны и в печатаемых главах — устранены длинноты, повторения, стилистические шероховатости (без обозначения кюпюр). Полный текст воспоминаний хранится у вдовы мемуариста, Анны Матвеевны Смирновой.

ОСЕНЬЮ 1921-го

Москва, 1921 год.

Печки с коротким дыханием.

Копина. Не хлеб, а еж. Колючий. Весь в занозах.

Люди одеты в шинели, ватники или потертые шубенки.

Пассажиры, обнимающие трамваи. Висящие на всех выступах в два этажа.

Лавины горбатых пешеходов с защитного цвета рюкзаками за спиной. Несут пайки.

И главное — отсутствие нейтральных лиц. Одни с сияющими, откровенно радостными глазами, другие с озлобленным тусклым блеском.

На заборах только что расклеенные газеты. От них идет пар. Десятки заскорузлых афиш об открытии курсов, студий, школ.

На одной из них я прочитал о приеме заявлений в «Первую государственную профессионально-техническую школу поэтики».

Перечислялось множество заманчивых предметов. Больше всего действовало на воображение название «Профессионально-техническая» — явно водчеркнутый практический уклон. К тому же Первая и Государственная. Впрочем термин государственная легко приклеивался тогда к самым невероятным начинаниям.

В. В. ФЕФЕР

Фотография, 1920-е годы
Собрание А. М. Смирновой,
Москва



В числе лекторов — Валерий Брюсов, врубелевский портрет которого со скрещенными руками так часто представлялся мне, и почему-то всего более — при чтении его «Алтаря Победы».

Поэт Сергей Михайлович Соловьев — так высокомерно уничтожаемый жестокими рецензиями Брюсова и так ученически почтительно относящийся к этой тяжелой лаве унижения¹.

Перечислены и другие люди — книги, люди — обложки, люди — стихи, проза, статьи, критика, библиография.

Груды книг, выписанные в небольшой город Липецк наложенным платком и разрезаемые так, что на коленях оставались белые хлопья, или книги затрепанные, с обгрызанными углами из плохо отапливаемой местной публичной библиотеки имени Петра Первого, где постоянно теряют абонементы.

И вдруг настоящие Брюсов, Соловьев. Странно было себе представить, казалось фантастичным, что они будут приходить с мороза, расстегивать пуговицы, снимать калоши и проводить гребешком по волосам.

На афише и малоизвестное имя Адалис — ректор². Мне казалось, что это бородатый символист с горящими, как костер, глазами. Властный и высокий. Пьедестал для бороды. И именно он-то окончательно меня не примет. Собьет на малопонятных терминах «соборность» и «дионисизм».

С Вячеславом Ивановым они ходят друг к другу в гости и спорят до рассвета, пока не потускнеет в утреннем тумане борода Адалис.

Но он принял. «Он» оказался тоненькой и маленькой, как сапожный гвоздик, — Адалис. На ее пестром пальто не хватало пуговиц. Пальто отдиралось ветром. Ворот — широк и ветер падал туда сверху насквозь, как в свистульку. Адалис шла сбоку своего пальто. В египетском ее профиле выделялся горбатый покрасневший нос.

Калоши были недружны.

Воображаемая огромная борода сбрита начисто. Подбородок остр и нежен. Я был разочарован и вместе утешен.

Адалис не страшна.

Мы встретились на Кудринской площади, когда я разыскивал школу поэтики. Адалис улыбнулась на мой вопрос, показав неровные, вразбежку, зубы.

Мои новые калоши было стыдно идти рядом с ее старыми и разными. Адалис говорила с секретарем школы — чрезмерно миловидной девушкой Марусей Поступальской о Брюсове, о расписании³. Они обменивались какими-то мне непонятными намеками. Я громоздился рядом, иногда спускаясь с тротуара на мостовую.

Вывески школы поэтики не было. Ветер трепал заплаканную бумажку с успешными заржаветь кнопками; на бумажке значилось, что прием в школу продолжается.

Большой, темный коридор, где всегда пахло фаршированной щукой и где лениво дрались дети, привел нас к двери. Адалис зажгла спичку, осветившую ее показавшийся мне целлулоидным подбородок, и открыла студию.

Что это была за пустынная удивительная комната — студия. Такая же безалаберная, как и ее обитательница. В углу — кушетка, укрытая пестрым покрывалом.

Адалис экзаменовала меня, сидя на ней с поджатыми ногами, больше слушая свою папиросу, чем мои натужные ответы.

Потом я читал ей отрывки повести о революции в Тамбове.

Огромное поле стола было у окна. За такими столами на козлах монахи ели всем монастырем. На нем были постелены пестрые тряпки. Лежали неровно нацарапанные на клочке бумаги строчки стихов (Адалис?), рукопись статьи (Брюсова?), неоспоримо его книга стихов «В такие дни».

Железная печь расцвела и заклокотала очень быстро.

Кончив период, окутанный напряженной паузой, я разделся. Пальто было положить некуда. Взял его на колени.

Секретарша Поступальская покосилась, но промолчала. Мне казалось, что секретарша слишком подробно записывала мои ответы. Но я ошибся, она свернула исписанный листок, положила его в конверт и наклеила марку. Меня она не слушала.

Я стал посмелее. Видимо, Адалис скоро надоели мои знания литературы.

Перебила с полуслова:

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!..⁴

— Это чье?

Пастернака я не читал. Мараться — мне не понравилось. Коробка — очень.

«Коробка с красным померанцем», — повторила Адалис, вкладывая в это особенный смысл, и отрывисто закурила.

Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

— Это чье? — и скосила глаза с папиросы на мое пальто.

— Пушкина.

— Пушкина надо часто читать, — так говорит Валерий Яковлевич. Голосом и губами: «Как п-е-ерсты девы молодой».

Остроконечными пальцами. Как тщательно очиненные карандаши.

— Понимаете?

Я понимал.

— А кто ваш любимый общественный деятель?

— Валерий Брюсов.

После этого ответа мне показалось, что я уже принят.

Но я не остановился, как не может сразу остановиться лошадь, побившая рекорд. Боясь все же, не будет ли слишком длинно, я досказал об общественном значении писателя, вычитанное из отчета о выступлении Брюсова, к чему я полностью еще в провинции присоединился и пытался присоединить сестер. Правда, из этого ничего не вышло. У сестер были старые любимые сборники «чтецы-декламаторы» со стихами о природе, о любви и о том, что «так солгать могла лишь мать, чтоб сын не дрогнул перед казнью». У них был Виктор Гофман в обложке из роз и совершенно беспартийная Прекрасная Дама из первого тома Блока.

Забавно, что на вступительном экзамене не Адалис мне, а я ей доказывал, что Брюсова надо уважать и любить. Я отвечал совершенно искренне, — я ведь не знал тогда, что Валерий Брюсов был и ее любимейшим общественным деятелем.

До чего же я был молод и наивен!

Я агитировал Адалис — это было так же нелепо, как с пеной у рта уверять Джульетту, что Ромео очень мил.

Экзамен кончен. Меня попросили выйти за дверь. И пока решалась моя судьба, я стоял в темном коридоре, волновался и мучился сомнениями, слушал, как бегали голоса Адалис и секретарши. Чиркала спичка. Скрипела дверца печки. Мне показалось, что меня приняли, но толстая женщина, жарившая рыбу, открыла дверь рядом и принялась чем-то щелкать по головам притаившихся детей, громко, как щелкают орехи.

Кто-то иронически спустил воду в уборной.

Не примут — ясно!

Но тут же успокоительно сгладил беспокойство рояль с потолка. Играли по-домашнему, с ошибками, по засаленным нотам, спотыкаясь и путаясь в двух педалях, как в лесу.

За дверью было тихо: курили.

Наконец шлепнулась на пол туфля Адалис. Я понял — приняли. Через стенку я как бы увидел, что она подобрала ноги на постель: приняли.

Так и оказалось. Впустили. Посадили за поле битвы — заполнять анкету. Секретарша выписала мне справку. Дыхнула на печать.

Я выскочил в коридор. В тот самый, где всегда пахло фаршированной рыбой, почему мы и прозвали его фаршированным, где в течение последующих месяцев учились мы многим заманчивым наукам у людей удивительных, где трудились, дружили, шутили и смеялись, часто вместе с профессорами и преподавателями.

Я выскочил в коридор, напутствуемый:

Коробка с красным померанцем

Моя каморка.

.....

По гроб, до морга.

Я был счастлив «по гроб, до морга», «как персты девы молодой».

ВПЕРВЫЕ У БРЮСОВА

По приезде в Москву (в начале 1921 года), еще не зная о предстоящем открытии литературного техникума, я естественно искал хоть какой-нибудь возможности увидеть и услышать Брюсова.

Такая возможность была.

Моя жена училась в юности во французском пансионе Сен-Пьер и Поль в Милютинском переулке, во дворе католической церкви; училась вместе с Жанной Матвеевной Брюсовой и дружила с ней⁵.

Юная чешка, дочь мастера московского завода Бромлей, И. М. Рунт по окончании института поступила гувернанткой в семью Брюсовых и стала женой Валерия Яковлевича.

Я отважился пойти к нему лишь тогда, когда Жанна Матвеевна, желая познакомиться с мужем своей подруги, пригласила нас с женой к себе на чашку чая.

Рядом с Ботаническим садом на 1-й Мещанской находился дом, где жили Брюсовы.

Иоанна Матвеевна (ее чаще звали Жанной Матвеевной), известная переводчица, верная помощница Брюсова в литературных работах, оказалась скромной, гостеприимной женщиной. Встретила она нас ласково и пригласила в столовую. Они с женой заговорили на французском языке такой скороговоркой (полуфразы прерывались добродушным смехом), что я половину их речи не понимал.

Иоанна Матвеевна расспрашивала о наших семейных делах, о планах на будущее и, почувствовав, с какой жадностью я ловлю ее отрывочные фразы о Валерии Яковлевиче, сказала, что он недавно добился открытия ВУЗа, где смогут получать образование будущие писатели, поэты, редакторы, переводчики и издательские работники, что есть разрешение и на организацию литературной школы на правах техникума.

Тут я не удержался и признался, что принят в литературный техникум, просил лишь не говорить об этом Брюсову.

Валерий Яковлевич работал в своем кабинете, и поэтому разговор наш, чтобы не мешать ему, велся вполголоса — так, по-видимому, было заведено в семье.

Брюсов вышел к чаю. Впервые я увидел его так близко. Он показался мне величественным и сосредоточенным, но взгляды его, едва он присоединился к сидящим за столом, подобрел, «разгладились морщины на челе». Я обратил внимание на то, что морщины его были необычны — вертикальные и глубокие. С его приходом сразу изменилась обстановка — заговорили громче, облегченней.

Там, в кабинете, никого уже не было. Но там оставались книги, гравюры, портреты, рукописи. Много бы я дал, чтобы посмотреть обстановку рабочего кабинета Валерия Яковлевича, угадать методы и технику его труда. Брюсов не закрыл дверь. Но просить об этом в первое посещение было невозможно. К тому же Брюсов, видимо, не хотел надолго прерывать начатое, в прямое общение не входил и, торопливо выпив чай, бросал короткие, вежливые фразы хорошо воспитанного человека.

Лишь один раз отвлекся он, когда сидящий за столом мальчик — гость или родственник — показал несколько подаренных ему марок. И тут проявилась черта, характерная для Брюсова. С изумительной четкостью рассказал он об истории выпуска одной из редких марок. Если бы записать его речь, то сохранилась бы еще небольшая новелла Брюсова. Сразу почувствовалось, что он превосходно знает филателию.

Брюсов сам оставил нам интересное свидетельство своего отношения к работе. Отвечая на приглашение редактора журнала «Советский филателист» сотрудничать в журнале, он пишет: «...Разумеется, как человек,

АФИША «ВЕЧЕРА ПОЭТЕСС»
СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ
БРЮСОВА

11 декабря 1920 г.
Библиотека СССР
им. В. И. Ленина, Москва

Политехнический Музей
(Лубянский проезд 4)

В Субботу, 11-го Декабря, в 7 час. вечера

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОЭТОВ
УСТРАИВАЕТ

**ВЕЧЕР
ПОЭТЕСС**

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СКАЖЕТ

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

ВЫСТУПАТ ПОЭТЕССЫ:

АДАЛИС.	НАДЕЖДА ВОЛЬПИН.
БЕНАР.	НАДЕЖДА ДЕ-ГУРНО.
ФЕЙГА КОГАН.	ВЕРА ИЛЬИНА.
НАТАЛЬЯ ПОПЛАВСКАЯ.	МАРИНА ЦВЕТАЕВА.
	МАЛЬВИНА МАРИДНОВА.

Билеты продаются в Политехническом Музее (Лубянский пр. 4) и в доме П. П. Митраева, 51.

привыкший к научной дисциплине, я ознакомился *со всей* (курсив здесь и далее мой.— В. Ф.) той филателистической литературой, которую мог получить в Москве, между прочим проштудировал все основные каталоги марок на разных языках, но от этого до подлинных знаний в области филателии еще весьма далеко. Как писатель, как профессор, я привык говорить только новое».

Вступив одним из первых в члены Всероссийского общества филателистов, Брюсов был избран почетным председателем редакционной коллегии ВОФ.

В ответ на приглашение редакции написать стихи на сюжет из области филателии — Валерий Яковлевич отвечает, что он «видел такие (не на русском языке), но удачных еще не встречал. Однако самая трудная задача стоит того, чтобы над ней поработать»⁶.

В мимолетной сцене, которую я наблюдал в 1921 году, проявилась черта, за которую мы любили Брюсова и которая имела для нас огромное воспитательное значение. Упорный труд Брюсова был одним из главных источников его морального обаяния.

Брюсов поблагодарил жену, извинился, ссылаясь на неотложность работы, сердечно простился с нами и ушел в кабинет, плотно закрыв дверь.

На прощанье я выпросил у Жанны Матвеевны разрешение как-нибудь прийти посмотреть кабинет в отсутствие Валерия Яковлевича.

— Разве что, — согласилась Жанна Матвеевна, — с условием ничего не трогать и не путать, особенно на столе. Валерий Яковлевич приходит в ярость, если нарушают установленный им в кабинете порядок.

В ГУКОНЕ

Жизнь фантастична и неправдоподобна.

Найти работу в Москве в этот год было трудно. Ежедневно приходил я на биржу труда и ежедневно в окошечке получал отказ. Довольствовался случайной работой.

И вдруг мне повезло, предложили на выбор два места: в Госбанке или в Гуконе. Было учтено, что я в анкете указал: «учился на юридическом факультете бывшего Юрьевского, ныне Воронежского университета»⁷.

Учился я, правда, неполный год, но все-таки грамотность моя перетянула соперников. Подумав, я предпочел пойти в таинственный Гукон: все-таки интереснее, чем банковские цифры.

Гукон расшифровывался как Главное управление коннозаводства и коневодства. Мне повезло вдвойне: начальник Гукона оказался земляк — бывший заведующий Тамбовским земельным отделом И. Ф. Франц, немедленно назначивший меня секретарем⁸. Коней в канцелярии на Никитском бульваре не было, но интересных людей — тренеров, наездников, любителей лошадей я повидал немало, наблюдал и азартные сцены на бегах, обогащение одних и падение других. В первый же день узнал, что в числе служащих Гукона были два выдающихся человека: во-первых, бывший генерал царской армии, полководец эпохи первой мировой войны, с именем которого связаны важнейшие успехи русской армии, Верховный Главнокомандующий в 1917 году; после Октябрьской революции, в 1920 году — Председатель Особого совещания при Главкоме, ныне главный инспектор Гукона — А. А. Брусилов, и во-вторых, поэт В. Я. Брюсов.

Брусилов — этому я поверил. Широко были известны его слова, сказанные корреспонденту рижской газеты «Новый путь»: «Я подчиняюсь воле народа, — он вправе иметь правительство, какое желает. Я могу быть несогласен с отдельными положениями, тактикой советской власти; но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на благо горячо любимой мною Родины»⁹.

Но я сначала не поверил, что вторым выдающимся сотрудником Гукона был член РКП Валерий Яковлевич Брюсов.

Начальник отдела кадров Шкваркин показал, а потом подарил мне «на память» собственноручную анкету, заполненную В. Я. Брюсовым. До сих пор хранится она у меня.

О п р о с н ы й л и с т

Фамилия, имя, отчество
Должность

Брюсов Валерий Яковлевич
Для особых поручений при отд.
Коневодства

Количество членов семьи, находя-
щихся на иждивении

Жена Жанна Матвеевна Брюсова,
47 лет, и племянник Николай Ни-
колаевич Филипенко, 4 лет

Образовательный ценз — общее об-
разование, специальное образова-
ние

Окончил Московский университет

В каких предприятиях работал,
какое время, на каких должностях:

1. До Февральской революции
2. До Октябрьской революции

Не служил
Зав. Моск. Книжной Палатой

3. После Октябрьской революции
Заведующий Отделом научных библиотек Наркомпроса.
4. Последнее место службы и оклад жалованья
Заведующий Литературным Отделом Наркомпроса, оклад — 15.000 руб. в месяц (как незамещающий специалист).
- Отношение к воинской повинности
Признан совершенно неспособным.
- Состоит ли в профессиональном Союзе и с какого времени
Всероссийский Союз Работников Просвещения, членский билет 5520.
- Состоит ли в партийной организации
Член РКП, № партбилета 211 831.
- Кто рекомендует
т. Бутович, т. Лопашов.
- Домашний адрес
1-я Мещанская, 32, телефон 1-95-33.
- Подпись — Валерий Брюсов

«Особые поручения» были Брюсову, любителю и знатоку лошадей, по сердцу. Он среди своей разнообразной литературной и служебной работы всегда находил время аккуратно выполнять задания. Особенно его интересовала организация коневодческих школ. В голодовку ценное конское поголовье вымирало, кадры работников конных заводов были профессионально малограмотны. Брюсов выступил тогда в специальном журнале «Вестник коннозаводства и коневодства» с обстоятельной, исчерпывающей статьей об организации таких школ и своим авторитетом сдвинул вопрос с мертвой точки.

В его статье по коневодческим вопросам впервые была изложена разработанная Брюсовым четкая схема — структура школ, для аргументации его положений были совершены убедительные экскурсы в прошлое, поражающие читателя глубоким знанием вопроса¹⁰.

Я видел Алексея Алексеевича Брусилова, когда секретарствовал на заседании при начальнике Гукона. Аккуратный старик с прической бобрником, со стрелками усов, в полувоенном кителе, без орденов и нашивок, чем-то похожий на бывшего царя Николая второго; только у Николая был тусклый взгляд, а у Брусилова — живые бисеринки глаз. Он сидел по правую руку от темпераментного тов. Франца, не улыбался, был скромный и молчаливый. Когда тов. Франц обращался к нему за одобрением, Брусиллов молча кивал головой. На зеленом сукне стола выделялась его старческая рука с перстнем на безымянном пальце.

Брюсов, в своем классическом черном сюртуке, садился немного поодаль от общего стола, держался замкнуто, серьезно, почти не реагировал на начальнические шутки. Высказывался весомо, но мало — присутствующим была известна его статья о необходимости открытия школ и о методических принципах их работы.

При голосовании Брусиллов первым поднял руку за решение о расширении сети государственных коневодческих школ.

Для тех, кто знает биографию Брюсова, ничего неожиданного в его увлечении коневодством нет.

Еще отец его увлекался конным спортом, а сам Брюсов одно время был постоянным посетителем скачек.

В 1889 году в журнале «Русский спорт» была напечатана его статья на спортивную тему, а в 1891 году вторая статья на ту же тему была помещена в газете «Листок объявлений и спорта».

Если уж надо мной, студентом-новичком, шутили, узнавая, что я служу в Гуконе, то можно себе представить, какой благодарный материал для насмешек давал своей службой Брюсов. Но он не стыдился — это

был один из участков, где работа его была нужна. Его статья, по отзывам специалистов, жива еще и до сих пор.

Не могу не упомянуть, что именно эта деловитость, исключительная добросовестность особенно ставились в вину Брюсову как измена «божественному дару»; практическое участие в строительстве рассматривалось как приспособленчество.

Между тем в каждую из областей своей деятельности он вносил новое, хорошо продуманное и практически значительное.

В КАБИНЕТЕ И БИБЛИОТЕКЕ БРЮСОВА.

И вот я, наконец-то, в кабинете и библиотеке Брюсова.

— Валерий Яковлевич придет сегодня поздно, — сказала Жанна Матвеевна, — так что можете посмотреть все внимательно.

Она села в кресло с книгой в руках и, отвлекаясь, время от времени давала короткие пояснения.

— Брюсов никогда не говорит: «Я иду писать стихи», а «Я иду работать», — замечала она.

Кабинет очень прост, в нем нет лишних украшений — бюст Жуковского, гравюра Пушкина, несколько портретов писателей. Знаменитый длинный стол, помнящий литературные среды Брюсова. Здесь читали свои произведения Андрей Белый, Константин Бальмонт, Юргис Балтрушайтис, С. В. Шервинский, Владимир Маяковский¹¹, Николай Асеев, Вадим Шершеневич, Константин Липскеров и многие другие поэты и прозаики.

Все, что находится здесь, хранит следы труда. Не только поэта, но и ученого-историка, философа, лингвиста, математика, журналиста, редактора, практика социалистического строительства.

Сразу не перечислишь все, чем интересовался Брюсов. Он изучал высшую математику, пангеометрию, палеонтологию, историю, географию, археологию. Он прочитал всю русскую литературу от памятников древней словесности и до наших дней. На отдельной полке собрано множество пушкинских изданий.

— С большим вниманием следит Брюсов за успехами науки, — говорит Жанна Матвеевна, — изучает Маркса, Энгельса, Ленина.

Невольно вспоминается, ставший хрестоматийным эпизод беседы Брюсова с Горьким.

— Можете ли вы прожить двадцать лет среди книг и только книг? — спросил Горького Брюсов.

Горький ответил: «Нет, что вы!.. Этого нельзя. Я не могу».

И тогда Брюсов сказал: «Да, и я не могу, а вот прожил же!».

В кабинете Брюсова материалы и книги наглядно показывают не только богатство эрудиции, широкий круг культурных, естественно-научных и исторических интересов поэта, но и то, как Брюсов накапливал свой опыт в самых разнообразных областях.

В одном из шкафов бережно сохранялись материалы, источники, откуда он черпал сведения, необходимые ему в работе над историческим романом «Огненный ангел». Здесь атласы, карты, книги о XVI веке, вроде четырехтомного «Адского словаря», изданного в Париже в 1825 году. Особые полки заняты античной литературой в подлинниках.

Во многих книгах библиотеки в 5000 томов можно увидеть собственноручные пометки Брюсова на полях, причем иногда на том языке, на котором написана сама книга.

Есть его стихи на французском и итальянском языках. В дневниках — выписки из Гиббона по латыни, или на санскрите — из календаря индусов.



БРЮСОВ

Фотография, 1923. С дарственной надписью: «Издrevле сладостный союз // Поэтов меж собой связует. Дорогому Александру Ивановичу Корчагину в знак товарищества, дружества, сочувствия.

5 сентября 1924. Валерий Брюсов»

Собрание А. И. Корчагина, Москва

Имея представление о лингвистических познаниях Брюсова, не удивляешься обилию книг на самых различных языках — французском, английском, итальянском, испанском, немецком, чешском. Здесь словари древних и новых европейских и восточных языков — арабского, персидского, армянского, японского, шведского и многих других.

По-видимому, желая меня вознаградить за увлеченное изучение всего, что дает представление о Брюсове, Жанна Матвеевна раскрыла мне одну из папок и показала оригинал стихотворения, написанного Брюсовым в 1917 году, ставшего впоследствии нашим надежным компасом:

Единое счастье — работа,
 В полях, за станком, за столом —
 Работа до жаркого пота,
 Работа без лишнего счета, —
 Часы за упорным трудом.

.....

О кабинете и библиотеке Брюсова я писал и печатал уже после его смерти, писал и о роли его жены, бережно сохранившей его литературное наследие¹².

Но первое посещение кабинета Брюсова произвело на меня ярчайшее впечатление.

Имя такого учителя можно было назвать с гордостью.

Ясно стало и другое: учиться у такого эрудита и труженика — не легкое дело. Только трудом можно было завоевать его одобрение и уважение.

СКУЛЬПТУРА БРЮСОВА

23 сентября 1921 года в Камерном театре было утро французской лирики XIX века.

Вступительное слово говорил Брюсов.

Выйдя на сцену, он словно встал в рамки своего врубелевского портрета — так естественна для него была эта поза со скрещенными на груди руками, поза замкнутого, собранного, холодного человека.

Его сюртук был панцирем, темной полированной корой, и ослепительно белым цветком дымился от света софитов носовой платок в верхнем кармане.

Линялые усы, яркие, суховатые губы.

Чуть картавая, ровная, как движение тени на солнечных часах, речь — тихий сыпучий блеск, иногда лишь с горошинами горлового хрипа и опять белый цветок под треск прожекторов по бокам.

Ледники эрудиции. Уменье говорить обо всем, как свидетель. Ничего личного и все-таки все личное. Он казался живым современником Теофиля Готье, Леконта де Лиля, Эредиа, Верлена. Брюсов говорил о них, как бесстрастный историк, усилием воли сдавливающий готовые прорваться воспоминания, как академик. И почему-то в этом сочетании вдруг ощутилось мною что-то мертвящее.

Так должны говорить воскресшие из мертвых Лазари, если бы они были историками литературы, или ученые, вставшие после нескольких лет анабоза.

Вступительное слово окончено. Началась художественная часть — чтение стихов в исполнении премьеры Камерного театра, изысканно-декадентского артиста Н. М. Церетели.

Мне оно не понравилось.

Черную скульптуру Брюсова тщетно старался он растопить истомными фиоритурами своего жесткого и негибкого по природе голоса. В одной и той же манере читал и Бодлера и Лафорга, Ван Лерберга и Метерлинка, Жюлья Ромена и Дюамеля.

И стихи, и такие разные по стилю переводы: твердые Брюсова, слащавые Бальмонта, раскосые Шершеневича — все обволакивалось мадерным тоном актерской читки.

Утра не получилось.

Влево была нога арфистки Корчинской в золотом туфле, с золоченой арфой. И в середине, под негромкие, хорошего тона аплодисменты, кланялся пробор Церетели, кланялся за Готье, за Бодлера, за Верхарна, за всех авторов.

Обособником в стороне стояла скульптура Брюсова.

СМОТР ПОЭТИЧЕСКИХ ШКОЛ

Прежде чем услышать в техникуме первую лекцию Брюсова, мы видели его председательствующим на «Смотре поэтических школ» в Политехническом музее 17-го октября.

9.13
95.18
30.11
933.00
у 9.15-21
В. И. Мух
Сейт-Т

Вторник
12
декабря

ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ.

Под председательством В. Я. БРЮСОВА.

Символисты: В. Брюсов, Г. ...
 Футуристы: Н. Асеев, В. Каменский, А. Крученых, С. Тютчев.
 Центрифуга: И. Аксенов, С. Вобров.
 Московский Парнас: Адалис, В. Ковалевский, В. Ланги, Е. Габри-
 левич, В. Мокина.
 Пролетарские поэты: В. Александровский, М. Герасимов, В. Казин,
 В. Кудряков, С. Обрадович, Г. Санников.
 Крестильские поэты: Г. Девя, Хомяковский, С. Клычков, П. Оре-
 шин, Чернышев.

АФИША «ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ» ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ БРЮСОВА.
 Москва, Дом печати, 12 декабря 1922 г.
 Фрагмент сводной афиши с пометами Брюсова
 Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Москвичам памятны эти смотры 1921—22 гг., такие стройные на афишах (поэты расставлены под шапки названий) и такие бестолковые в развороте большого зала, падающего вниз к кафедре, где в центре значительным восклицательным знаком — иногда Валерий Яковлевич, а чаще монументальным, неумещающимся, рычащим знаком — Маяковский.

Структура беглой, но, как всегда, содержательной вступительной речи Брюсова о смене литературных течений была приблизительно следующей: символисты обращали внимание на общие вопросы, футуристы — на вопросы сегодняшнего дня. Война и революция изменили жизнь. Возникает резкое искание новых форм: неофутуризм, имажинизм, принцип организации формы, лозунг — брать из жизни современности только образное; экспрессионизм, ничевоки; возникает реставрация — неоклассики (возрождение классических приемов).

Заключение — русская поэзия жива, в ней — брожение; новое уже нащупывается.

Двенадцать афишных «школ» прошли перед зрителями. Крученых выдвинул достижения футуристов — обогащение языка, заумь. Неофутуристы в лице С. Буданцева провозгласили принцип: важен лишь сам человек и его время. Представитель «Центрифуги» — Иван Александрович Аксенов — пытался обосновать тезис: «наблюдается оскудение власти города; полемика заменяется организацией; вместо урбанизма выдвигается гуманизм и реализм, футуризму дается содержание».

«Орден имажинистов» во главе с Вадимом Шершеневичем: «мы слишком ценим публику, чтобы предположить, что она незнакома с нашим течением; мы слишком ценим себя, чтобы предположить, что можно рассказать о нем в двух словах, в течение нескольких минут; поэтому мы будем читать лишь стихи».

Распухший, готовый лопнуть от жира, неоклассик Олег Леонидов прочитал слабенькое стихотворение, посвященное Брюсову, отчего тот морщился, как от дурного запаха.

Добродушный весельчак, русский Беранже литературной братии, толстяк Арго открестился от клички «неоромантик», присвоенной ему насильно. Адалис сняла с себя ярлык «неоакмеистки» и заявила себя синтетисткой, очевидно под влиянием недавнего выступления Брюсова в Союзе поэтов.

Презентисты. Экспрессионисты. Ничевоки, повторившие заграничную штучку, — они вышли с нагрудниками — детскими «слонявчиками», на которых написано: «ничего не пишете, ничего не читаете, ничего не печатаете». Безмолвно постояли на сцене и ушли, освистанные публикой. Эклектики — барахлишко разных направлений. Наконец символисты И. Рукавишников и В. Брюсов. Брюсов мужественно выносил галдеж и крики «довольно» особенно упорным авторам. Своим спокойствием мэтра он придавал какой-то вес забавам и почти хулиганству на эстраде.

Самого его слушали более внимательно, чем других, но особого успеха и он не имел — публика распоясалась, жаждала крови и любого повода, чтобы можно было протестовать, посрамлять и сокращать, развенчивая захватчиков кафедры.

Характерный штрих. Когда по окончании вечера вываливались поэты неоклассики и эклектики — публика требовала, чтобы они становились в очередь к вешалке: «В очередь, в очередь, нечего там!» — чем смутила даже ничевоков, но Брюсову молча уступили дорогу, — шла литература, почти история литературы, авторитет.

Брюсов выходил деловито, как человек, закончивший серьезную работу. Таким диспутам Брюсов придавал некоторое значение, считая, что они помогают расслоению поэтических групп, выявлению и упрочению новых, настоящих поэтов. Кроме того, он считал, что сама информация о литературных школах уже оправдывает выступления.

Следует напомнить, что в 1919—1921 гг. свирепствовал бумажный голод, книги выходили единицами, журналов было мало. Поэзия стала устной, и чтение стихов в Политехническом музее, в клубах и в кафе в какой-то степени заменяло их печатание.

Но иногда тут же в фойе продавались тощие книжечки стихов, отпечатанные самими авторами на стеклографах и гектографах. Помню, сборник «Явь» (1919) был напечатан на толстой коричневой оберточной бумаге, плохо обрезанной по краям, с вкраплениями соломы на страницах.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

15-го октября 1921 г. собеседованием ректора Адалис со слушателями начались занятия в профессионально-технической школе поэтики.

Ничего профессионального, если не считать постоянной безалаберности и опаздываний ректора Адалис и профессоров, на первый взгляд не было. Не оказалось и на второй взгляд.

Время было трудное — холодное и голодное. Сил было мало и у нас, учеников, и у наших учителей. На занятия являлись пешком. Переполненные трамваи ходили неаккуратно, именно ходили. На дорогу тратилось много времени. Я, например, хорошим ходом около часу шел в техникум от Трубной к Страстной площади, а оттуда по Тверской к Триумфальной площади и далее — по Большой и Кудринской Садовым.

Части преподавателей, объявленных в афише, мы так и не видели.

Высококвалифицированные специалисты совмещали занятия в нескольких местах, зачастую из-за дополнительных пайков. И профессора и студенты часто болели, а иногда не находили сил, чтобы добраться до аудитории.

Адалис пропадала где-то по целым дням. Она любила бродить по городу и бормотать различные неясности, из которых потом либо рождались, либо не рождались стихи. В последнем случае неясности не прояснялись. Если поэт не бормочет на ходу — значит это плохой, ленивый или ненормальный поэт.

Адалис была хорошим поэтом. И хорошим наставником молодежи, но административных способностей у нее не оказалось.

Административно-хозяйственными делами автономно занимался Андрей Малышев, навязанный Брюсову каким-то напористым товарищем из Наркомпроса¹³.

У него был второй ключ от комнаты Адалис. В техникуме он ухитрялся лишь мелькать в воздухе.

Адалис ненавидела его за нечестность, и иногда мы слышали, как она на него шипела, из серебристой ящерицы превращаясь в разъяренную кобру.

Педантично аккуратным был Брюсов. Лишь один-единственный раз, в жгучую метель, он пришел запорошенный снегом с опозданием на 7 минут. И отряхнувшись, с мокрыми, густыми, искрящимися бровями, вынул из кармана часы, сам себе укоризненно покачал головой и смутился — так ему было непривычно и досадно опоздание на лекцию.

Однажды в красноармейской шинели пришел мифический А. Н. Чичерин, но лекции не читал¹⁴. Тщетно пытался начать курс истории поэтического языка А. И. Ромм¹⁵. Курс прекратился едва ли не после первого же занятия.

Ни твердого, ни нетвердого расписания занятий сначала не было. Между тем бросалось в глаза, что в отсутствие Адалис в ее большую комнату-студию, о которой мы идиллически мечтали, украдкой ходят какие-то люди, чуть ли что не расписываться в ведомостях, а Малышев, с воровато-административным, белобрысым лицом, иногда шлепает там какими-то печатями, включает кого-то в списки и затем, шумно передвигая ногами, с блуждающей улыбкой на невыразительном бабьем лице, исчезает.

Нам была предоставлена проходная комнатка с небритым хищным диваном, не стыдящимся своих внутренностей, и с разбитым, раненным навывлет окном во двор.

Мы знакомились друг с другом и с обитателями фаршированного коридора.

В ответ на требования начать регулярное чтение лекций и «упорядочить постановку дела» Адалис отнекивалась, ссылаясь на трудности, или сидела не дыша в комнате-студии, вынув ключ, явно намекая на то, что ее нет. Мы не верили этим намекам.

Умученные томительным, вокзальным ожиданием преподавателей, ходивших не по расписанию, мы провели стачку учащихся, избрали местком и предъявили ультиматум. Меня избрали председателем этого ученического месткома.

Адалис мы захватили: караул у двери поклялся или застать ее или умереть.

Тут же абсолютизм династии Адалис-Малышева был свергнут, восторжествовала демократическая республика с установленным расписанием.

Адалис все-таки выговорила себе четверг. Почему-то в четверг мы не занимались. Опьяненные властью, мы подарили ей этот день, кропая среди недели и в воскресенье стишки и прозу — практические работы.

Ключ к управлению — адреса лекторов — был в наших руках. Мы договаривались с ними сами или посылали им повестки. Сами и стыдили их за неявку, пока они раскручивали шарфики с шеи.

Занимались от 5 до 10 вечера. Звонки давали тоже сами.

Предметы читались такие:

В понедельник: С. М. Соловьев — греческий язык и семинарий по Брюсову, М. П. Малишевский¹⁶ — ритмика и метрика, В. Я. Брюсов — история русской литературы (целых два часа).

Во вторник: П. Г. Антокольский — теория театра, Т. М. Левит¹⁷ — практическая поэтика, А. Адалис — вольная композиция.

Чтобы не упускать ее, в среду — опять вольная композиция, затем

история западной литературы в образцах и семинарий по французским символистам — профессора В. Н. Карякина.

В пятницу: С. М. Соловьев — латинский язык и Нечаев — общественные науки.

В субботу густо распускались: семинарий по Тютчеву — Я. О. Зунделовича¹⁸ и, особенно, семинарий по Пушкину — Т. М. Левита.

БРЮСОВ — ВОСПИТАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ

Первая лекция Брюсова по русской литературе прочтена была в техникуме 24-го октября 1921 года. Скорее собеседование, на котором мы рассматривали друг друга. А рассматривать было удобно. Наша «аудитория» — небольшая и в эту пору года полутемная проходная комната при фаршированном коридоре — освещалась лишь одной лампочкой посередине. Походный столик лектора ставился под ней, а мы располагались полукругом так близко, что отчетливо могли видеть и сидящую голову Брюсова и потускневший, но всегда глубокий его взгляд, особенно энергичный в тот период; «римский» нос, тонкие, суховатые губы, малозаметные лапки морщинок у глаз, углублявшиеся, когда он улыбался, и глубокие вертикальные морщины на лбу.

Мы следили за тем, как он размеренными быстрыми шагами подходил к убогому столику, садился, примеряясь на удобство, как пианисты перед игрой, косился на разнообразие клякс и, секунду поколебавшись, не ставил свою шапку, а опускал ее набок туда, где клякс поменьше. И сразу, как бы продолжая недавно прерванный разговор, приступал к теме.

На первой лекции, насколько я помню, он разговаривал с нами об истории человечества, о том, что литература сохранила для нас все эпохи, все стремления, все идеи.

Он бегло рассказывал о многих эпизодах прошлого, и его выпуклая, точная и все же теплая речь, как бы очевидца всех событий мировой истории, современника упоминавшихся им ученых и писателей, до того известных нам лишь как имена, как знаки чего-то важного, наконец, его рассказ о возможностях воздействия литературы — все это сразу увлекло нас. Брюсов доказывал, что художественное слово — самое могущественное из искусств. Мы не только впервые смогли постигнуть гигантское общественное значение того дела, которому мы пришли учиться, но почувствовали страстное желание знать. В этой лекции Брюсов, как о чем-то личном, говорил о могуществе и сладости познания, о необходимости развития интеллекта человека, его образования.

Получение знаний непрерывно — с детства до глубокой старости. Крупичками и частями накапливаются знания, но они в мозгу человека соединяются в единое целое. Они всегда в запасе, всегда на службе, всегда помогают ему ориентироваться в любых случаях жизни.

Чем больше человек знает, тем более всемогущим и счастливым становится. Сам процесс познания, творческого труда настолько увлекателен, что уже одним этим вознаграждает человека-творца.

Мы глазами пожирали Брюсова, мы были ошеломлены тем, что в одной черепной коробке могло быть так много так хорошо, компактно уложенных знаний.

Какими жалкими казались наши ответы на его вопросы, какое чувство неловкости охватывало всех нас, когда кто-нибудь сознавался, что он никогда ничего не читал из произведений автора, упоминаемого Брюсовым.

Иной раз неловкость разрешалась смехом. Так было, когда один из слушателей сказал, что Державин писал на церковно-славянском языке.

Брюсов учел особенности нашей, в большинстве не очень грамотной, аудитории и умел находить такую форму лекций и бесед, что они незаметно, исподволь делали из нас культурных людей.

Сжатость, конкретность, умение отобрать необходимую предельную дозу излагаемого материала были характерными чертами его сообщений.

Он понимал все трудности для многих из нас занятий по специальным дисциплинам, когда элементарные приемы не были еще полностью освоены, когда часть наших товарищей просто не знала, как записывать лекции, как конспектировать книги, не говоря уже об умении систематизировать получаемые знания.

На первый взгляд казалось, — так легко было учиться: приходи, слушай и запоминай интересные сообщения интереснейших людей. Никто тебя не контролирует, не проверяет, не то, что в обычной школе, где приходилось жестоко расплачиваться за невыученный урок. Но это оказывалось так обманчиво, когда требовалось выступить или писать сочинение на данную тему по пройденному курсу...

Брюсов понимал, что большой объем даваемой им информации без навыков умственного труда у его слушателей не мог ими восприниматься в полной мере, поэтому он, походя, советовал, как легче и разумнее осваивать материал, давал задания прочитать доступную нам литературу.

Только деликатностью умелого воспитателя можно объяснить стремление Брюсова просмотреть наши тетради или блокноты с записями его лекций. Он, видите ли, хотел вспомнить, о чем говорилось прошлый раз. А прочитав наши записи и удивившись, как у некоторых отрывочно, наивно, а иногда и искаженно (для краткости) велись они, отдельно говорил с товарищем наедине, терпеливо объясняя и исправляя его ошибки.

Не желая кого-либо обидеть, он обобщал при случае наши типичные промахи и заявлял, что он, лично, предпочитает вести записи так-то. Очень важно иметь свою систему подсобной работы, помогающей литературной. Каждый культурный человек, каждый студент, а тем более слушатель литературного техникума, должен научиться записывать и конспектировать. И обязательно так, чтобы легко было найти ту или иную запись. Самое основное надо выделять, дабы видеть его с первого взгляда.

Брюсовым было введено как правило: перед его лекцией минут 15—20 занималось сообщением студента о том литературном течении или писателе, произведения которого рекомендовалось на прошлом занятии прочитать.

Сообщения делали мы все по очереди. Помню, как основательно мне пришлось в течение недели готовить сообщение о поэте Н. Языкове. До сих пор я помню его стихотворения, отчетливы мои познания о его жизни и творчестве.

Разбудите ночью, и я легко сдам вам зачет по Языкову, Пушкину, Тютчеву, словом, по тем разделам курсов, которые я слушал или готовил для ответов Брюсову.

Ограничив свой курс литературы русской поэзией, Брюсов дал законченный компактный очерк литературы 18-го века, объяснил архаизмы и славянизмы Державина, цитируя на память отрывки его стихотворений, дал нам ряд живых эпизодов деятельности Ломоносова как ученого и поэта. Затем перешел к поэтам пушкинской поры. Ему хотелось поскорее перейти к Пушкину. Он разбирал с нами произведения Батюшкова, Жуковского, Вяземского, Языкова, Баратынского.

В Вяземском оттенял остроумие, в Батюшкове, которого называл предтечей Пушкина, — стремление к чистоте русского языка. Отвлекаясь, доказал нам, что Пушкин писал в духе Жуковского, Батюшкова, Вяземского — характернее, чем они сами.

Читая и эти лекции, Брюсов применялся к насущным требованиям нашей аудитории. Он подчеркивал, например, что Жуковский, которого Пушкин называл «гением перевода», так же много, как и Пушкин, заботился о пополнении своего образования, работал над отделкой своих произведений.

Брюсов на память приводил слова Жуковского: «Я уверен, что только тот почитает труд тяжелым, кто не знает его; но именно тот его и любит, кто наиболее обременен им»¹⁹.

Брюсов улыбался, и нам казалось — последнее он говорил с особым удовольствием, как если бы это были не слова Жуковского, а его собственные.

Вообще Брюсов, точно придерживаясь своей программы, не боялся значительно уклоняться в сторону, делая это обычно за счет добавочного времени. Так, в ответ на вопрос одного из слушателей, в течение двух часов увлекательно излагал нам теорию относительности Эйнштейна. Он проводил свою давнишнюю мысль о неправильности мнений, будто все ныне утверждаемое наукой есть непогрешимая истина. Вспоминал, как истины меняются. Когда-то «научными» (в кавычках, выделял он) были Птолемея система, учение о свете Ньютона. Сводом «истин» была и вся схоластика. На примере теории относительности Брюсов показал, как ниспровергнуты законы, считавшиеся неизменными. Неизвестно, с какими насмешливыми улыбками будут говорить ученые 30-го века о современных научных истинах, может быть так же, как мы сейчас говорим об «истинах» астрологии и алхимии.

Один из уроков его пролился развертыванием случайного замечания о катапультах — прообразе артиллерии у древних — и превратился в лекцию по тактике и стратегии.

Другой раз Брюсов обрисовал нам характерную фигуру русского ученого и патриота К. А. Тимирязева и по памяти привел его заявление, сделанное в прошлом (1920-м) году: «Каждому русскому человеку необходимо определить, где его место — в общих ли рядах Красной Армии труда или в избранных рядах тунеядцев и спекулянтов»²⁰.

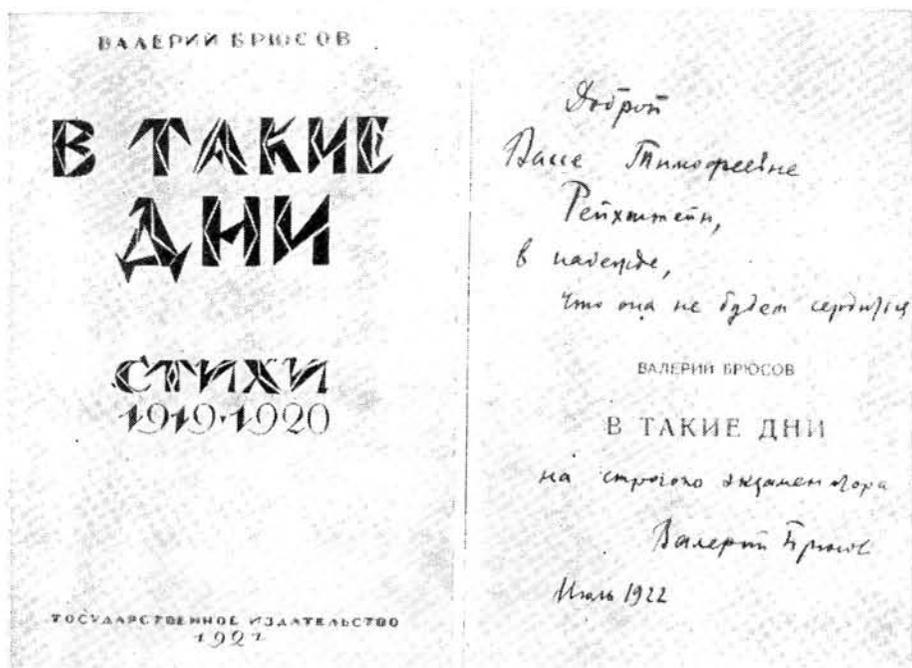
Это заявление Брюсов произнес с особым полемическим задором, как нечто очень для себя личное.

Его беседа была непринужденной, и в любом вопросе он умел вылущить основное ядро и подать его как явление, вам как будто уже знакомое, как суждение, вами слышанное. Все цитируемые им строчки ничего другого означать и не могли — как это вы сами раньше не догадались, да, кажется, вы и догадались, только не знали этого. Такова была сила убедительности брюсовской эрудиции и стройность изложения.

Общеизвестно, что простота и ясность при популяризации предмета являются следствием глубокого его знания. Этим качеством Брюсов владел в совершенстве. Особенно проявлялось это позже на лекциях по античной литературе уже в Брюсовском институте, но и в техникуме мы были свидетелями его умения воскрешать людей и события, оживлять древние надписи и памятники, умения передавать свое знание исторического быта, свои оригинальные домыслы, подкрепленные свидетельствами современников.

Общение с Брюсовым разрушило в нашем представлении легенды о его суровости. Когда зимой 1921 года он приходил к нам в морозы в своей шубе и шапке, как у Гавриила Романовича Державина, дышал на руки, согревая их, — мы знали, что нас ожидает интереснейшая беседа с нашим Брюсовым, заботливым учителем, снисходительным к нашей безграмотности.

Неверно было бы представить себе, что он был нетребовательным. Нет, то, что проходило, должны были знать все. Не могли не знать.



«В ТАКИЕ ДНИ». М., ГОСИЗДАТ, 1921

С дарственной надписью студентке ВЛХИ В. Т. Рейхштейн: «Доброй Вассе Тимофеевне Рейхштейн, в надежде, что она не будет сердиться на строгого экзаменатора. Валерий Брюсов. Июль 1922»
Титульный лист и шмуцтитул
Литературный музей, Москва

Подхлестывало, помимо желания, чувство стыда. Когда слушатель в ответ молчал или напряженно путал, Брюсову становилось не по себе, а от него и всем нам. Брюсов кратко повторял то, чего не мог (или поленился) усвоить студент.

Сначала мы боялись Брюсова, он подавлял громадами своих знаний, и, случалось, мы говорили ему, что из еще непройденного не знаем даже того, что уже было нам на деле известно. Но в оживленной беседе, которую он умел организовать, незаметно подвигая ее вперед репликами, каждый был счастлив вставить свои замечания.

Брюсов был деликатен, он не обрывал, не высмеивал, шутки его были добродушны и не обидны. Особенно же упорных возражателей он любил довести вопросами до предельно ясного сознания абсурдности их положений. Лицо его делалось по-детски лукавым, лапки у глаз углублялись, и мы все смеялись, а сконфуженный возражатель старался поглубже уйти в дырявый диван. Впрочем, таких смельчаков было очень мало.

Если Брюсов никуда не спешил, что, правда, бывало редко, или если неожиданно во всем доме гасло электричество, что бывало тогда часто, Брюсов предлагал читать стихи. Читал их сам и знал их великое множество.

А то, не договорив строфу, предлагал нам вспомнить окончание или самим придумать рифму. Когда же мы смущенно удивлялись, как же мы будем хотя бы одним словом изменять строфы Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Брюсов, шутя, напоминал, что «сам сделал попытку обработать и дописать незаконченную поэму Пушкина «Египетские ночи». Написал вопреки старым запретам Достоевского. И опубликовал в 1917 году в альма-

нахе «Стремнины». Критики ругали. Поддержал Алексей Максимович Горький».

Только в 1928 году узнали мы (из опубликованного текста) восторженный отзыв Горького: «Очень хочется работать с вами много и долго. И — это не комплимент, поверьте! — я не знаю в русской литературе человека, более деятельного, чем вы. Превосходный вы работник!

Прочитал «Египетские ночи». Если вам интересно мнение профана в поэзии — эта вещь мне страшно понравилась! Читал и радостно улыбался. Вы — смелый и вы — поэт божией милостью, что бы ни говорили и ни писали люди «умственные»²¹.

А что значат слова Брюсова: «вопреки запретам Достоевского»? Неужели Брюсов встречался с Достоевским? Ведь Достоевский умер в 1881 году. В это время Брюсову не было еще полных 8 лет. На наш недоуменный вопрос ответил всезнающий Теодор Левит. Оказывается, Достоевский в статье, вышедшей еще в начале шестидесятых годов, писал, что считает «Египетские ночи» «самым полным, самым законченным произведением нашей поэзии»: «Развивать и дополнять этот фрагмент в художественном отношении более невозможно<...> прибавьте еще хоть одну какую-нибудь лишнюю подробность, и цельное впечатление картины, может быть, исчезло бы перед вами»²².

Большинство из нас не видело альманаха, и мы стали просить Брюсова прочитать «Египетские ночи». Он не отказался, еще раз продемонстрировав нам свою великолепную, натренированную память — и это, вероятно, входило в его учебную задачу: смотрите, как бы говорил он, чего можно добиться трудом и упражнениями. Читал он очень просто, не прибегая к обычным тогда приемам исполнения — не нажимал, не рычал, не пел, но сдержанно выявлял содержание произведения, умело, продуманно вел ритм стиха.

Затем он рассказал, как он дополнял неоконченную поэму, стараясь не выходить за пределы пушкинского словаря, его ритмики, его рифм.

Мы были восхищены и подавлены такой глубищей эрудиции и труда.

После занятий студент Кухтин рассмешил всех, задумчиво заметив: «Если бы Пушкин и не начал «Египетские ночи», Брюсов и без него бы справился, один бы все написал».

На одном из следующих занятий Брюсов предложил попробовать поиски рифм.

...Но, как вино, печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем...?

— Как вы думаете, какая рифма, какое слово следовало у Пушкина? И посыпались наши рифмы: острей, ясней, слышней, больней, густей, сочней.

А студент сапожник Кухтин громче всех кричал:

— большэй, должшэй, громчэй.

Брюсов расхохотался: — «громчэй всех, не значит лучшэй всех, хотя у нас бывает и так. Но у Пушкина — удачнее, чем у вас, у него: «чем старе, тем сильней».

Я гордился тем, что однажды во время таких бесед завоевал одобрение Брюсова, сказав: «словам нельзя выламывать кости».

Известно, что Брюсов снисходительно отзывался о стихах Игоря Северянина. Отмечая безвкусицу его образов и словаря, Брюсов добавлял: «но все же есть в стихах И. Северянина какая-то бодрость и отвага, которые позволяют надеяться, что со временем его творчество найдет свои берега и что мутный плеск его стихов может обратиться в ясный и сильный поток»²³.

В одной из вечерних бесед с нами Брюсов полусутоя обмолвился, что из всех десятков сборников стихов Северянина ему больше всего запомнился эпиграф одной из книг — четыре строчки, не Северянина, а Федора Ивановича Тютчева:

Ты скажешь, ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

— И заглавие книги Северянина хорошее — «Громокипящий кубок», но тут же рядом «поэзы» — плохо и безвкусно.

Когда вот так, в темноте, смелый медик и бесстрашный поэт Фрумкин прочитал свои стихи о городе, Брюсов дополнил разбор их стихами Эмиля Верхарна в своем переводе и в переводах других поэтов.

Валерий Яковлевич простодушно признавался: вот это я перевел правильнее, ближе к оригиналу, а он — лучше, мелодичнее.

Дали свет, и мы неожиданно увидели не хмурые, затаенные глаза Брюсова, а удивительно открытый его взгляд — прямой, доверчивый, справедливый, живое подтверждение силы и честности его ума.

Один из наших товарищей писал о Брюсове: «Он умел превращать весь класс в дружную творческую лабораторию. Между ним и его учениками быстро устанавливались простые и доверчивые отношения».

Брюсов и Адалис вызывали у нас стремление к поискам нового, современного, усиливали требовательность к форме. Они начали приучать нас к профессиональному овладению материалом, к ежедневному труду, не смотря ни на что. Приучали нас к строгой дисциплине литературного труда. Писать надо не так, «как вышло», а, самокритично найдя слабые места, много потрудившись, самому добиться лучшего решения. При неудачах не падать духом. Не лениться. Не обижаться на критику товарищей. Неудачи могут быть очень поучительными. В любой науке одному удачному результату может предшествовать много предварительных опытов. Неудача может быть и удачей, так как предостерегает от последующих ошибок.

Мы спросили Брюсова: когда он решил закончить «Египетские ночи», верил ли он в свою удачу?

Он ответил: «Я верил не в удачу, а в удачный труд».

Брюсов часто напоминал нам слова Гете: «Без труда нет ничего великого».

БРЮСОВ И ПУШКИН

На лекциях у Брюсова мы улавливали черты характерно личного отношения Брюсова к Пушкину.

Следует, однако, напомнить, что переживал Валерий Яковлевич в это время.

Хотя Брюсов еще в 1917 г. начал работать с Советским правительством, что навлекло на него гонения его прежних сотоварищей, но его вступление в партию произошло в 1920 г. В последующие два-три года ему пришлось вынести наиболее злобные и ехидные шельмования. Улюлюканье шепотком.

Под подозрение брались искренность и политическая честность Валерия Яковлевича.

В заметке «Литературные нравы» журнальчика «Новый быт»²⁴ так рассказывается о Брюсове, ставшем мишенью для обстрелов: «Валерия Брюсова взяли под подозрение — вы думаете коммунисты? — нет. На

Валерия Брюсова навалилось доблестное казачество пезависимой российской словесности.

— «В Троицу святую веруешь?»

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу!

— А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо,— отвечал кошевой,— ступай же в который сам знаешь курень».

Это из Гоголя. А вот из практики современной нам Петербургской Сечи Дома литераторов.

— Како веруешь?

— Коммунист.

— Ату его!..

И пошли, и пошли!.. Охота на В. Брюсова ведется, конечно «культурная». Тихой сапой. Без особого собачьего гама. Ковырнут в бок шилом в одном номере «Утренников»²⁵, поцарапают в другом... Поручат П. Губеру как следует «смазать» Брюсова в очередной тетрадошке «Литературных записок», в статье, посвященной А. Блоку...»

В этой статье Губера про Брюсова издевательски писалось, что «чуткий ко всем переменам в окружающей атмосфере, он вдруг обновил радикально запас своих пластинок», что «мировоззрение берется им «напрокат», словно костюм от Лейферта», и т. п. гнусности²⁶.

Между тем, горячей убежденностью и искренностью звучала речь, произнесенная В. Я. Брюсовым на торжественном заседании в Доме печати в связи с 50-летием В. И. Ленина в апреле 1920 года.

Текст этой речи был опубликован в 1928 году в № 4 журнала «Экран»: «Я не думал говорить, считая себя недостаточно осведомленным.

Я скажу лишь несколько слов о личном взгляде своем. Вчера вместе с Максимом Горьким мы вспоминали слова поэта Тютчева:

Счастлив, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Такие роковые минуты мы переживаем и сейчас.

Здесь много молодых лиц и им непонятно то, как смотрим на вещи мы. Их детство прошло в 1905 году, их молодость совпала с европейской войной, теперь они переживают социалистическую революцию. Но для нас, которые в молодости жили в чеховской России, теперешние события прямо фееричны. Конечно, мы все считали социалистическую революцию делом далекого будущего. Вот теперь заговорили о возможности сношения с другими планетами, но мало кто из нас надеется там побывать. Так и русская революция казалась нам такой же далекой. Предугадать, что революция не так далека, что нужно вести к ней теперь же, это доступно лишь человеку колоссальной мудрости. И это в Ленине поражает меня больше всего.

Мы знаем, что всякая героизация противоречит миросозерцанию Ленина; все мы учили, что Земля движется по орбите (вокруг Солнца), но это не мешает нам, однако, восхищаться восходом солнца утром, закатом его вечером, восторгаться им, когда оно стоит на небе в полдень.

Пройдут поколения, и они будут так же восхищаться восходом солнца, так же будут изучать и восхищаться образом товарища Ленина»²⁷.

К апрелю 1920 года относится и текст приветствия В. И. Ленину, написанный Брюсовым, найденный среди рукописей, хранящихся в Ленинской библиотеке.

Характерно, что и здесь Брюсов упоминает имена Радищева, Пушкина, Толстого, Чехова и других писателей-классиков, выделяя тему труда, «равняющего и сближающего всех».

«Русская художественная литература, в своей наиболее ценной части, всегда была близка к идеалам лучшего строительства жизни, всегда страдала неправдой старого социального уклада. От Радищева через Пушкина и Гоголя до Толстого и Чехова, не исключая всех других дорогих нам имен, как, например, Достоевский (какие бы взгляды ни высказывали иные художники слова в своих теоретических статьях) — русский роман, русская поэзия, в своем целом, за ничтожными исключениями, были выразителями той идеи, что истинная жизнь человечества наступит лишь тогда, когда в ее основу ляжет ТРУД, равняющий и сближающий всех. В иных словах эта идея является тем всемирным лозунгом, который привел нас ныне в Советской России к диктатуре пролетариата. В великом социальном катаклизме, который переживается сейчас Европой и в котором передовую роль играет Россия, осуществляются смутные чаяния всех наших выдающихся писателей. Какое участие в совершающемся принимали вы, Владимир Ильич, известно всем, и русские художники слова, рядом с другими группами русского народа, приветствуют вас в день вашего пятидесятилетия — признанного вождя мировой социальной революции»²⁸.

Проникновенные стихи Брюсова «Ленин», «После смерти В. И. Ленина» вошли в хрестоматии, переведены на все языки мира.

И Брюсов с полным правом мог сказать, в стихотворении «У Кремля»:

А я, гость лет, я, постоялец
С путей веков, здесь дома я.
Полвека дум нас в пень спаяли,
И искра есть в лучах — моя!

Брюсов много раз утверждал естественность своего прихода к коммунизму. В 1923 году, на юбилейном чествовании в ответной речи, В. Я. Брюсов сказал: «Мне казалось, что теперь, в последний период моей жизни, я вернулся в Дом отчий, — так все это было *мне просто и понятно!* Никакой метаморфозы я в себе не чувствовал. Я ощущаю себя тем, кем я был»²⁹.

Если справедливо, что советоваться — значит искать подтверждения уже принятому решению, то в вопросах роли поэта в общественной жизни Брюсов советовался с Пушкиным. И Пушкин подтвердил Брюсову правильность его пути. По словам Ленина, каждый приходит к коммунизму своими особыми, неповторимыми, своеобразными путями. Надо ли говорить, каким авторитетнейшим полпредом и прошлых эпох, а во многом и настоящего, был для Валерия Яковлевича Пушкин. Достаточно вспомнить два-три свидетельства самого Брюсова, чтобы понять, почему у Пушкина искал Брюсов откликов на перемены в своей жизни.

«И до сих пор, — писал Брюсов после Октября (в 1922 году), — наша литература еще не изжила Пушкина; до сих пор по всем направлениям, куда она порывается, встречаются вехи, поставленные Пушкиным в знак того, что он знал и видел эту тропу»³⁰.

«Пушкин и среди великих поэтов составляет исключение», — писал Брюсов в том же году³¹.

Известны признания Брюсова о глубочайшем влиянии на него Пушкина. «С ранней юности сочинения Пушкина — мое самое любимое чтение. Я читаю и перечитываю Пушкина, его стихи, его прозу, его письма, в разных изданиях, какие только мог получить для своей библиотеки...»³²

«Выбери себе героя, — догони его, обгони его», — говорил Суворов. Мой герой — Пушкин»³³.

Произнося с гордостью «мы — пушкинисты», он изменил наше чуть насмешливое представление об этом термине. Лекции Брюсова были убедительны двойной убедительностью: и эрудицией, и страстью, в ней заключенной. Биографические данные о Пушкине были известны Брюсову настолько, что он мог отдельными штрихами уверенно показать нам живого Пушкина! Мы шутили друг с другом: Валерий Яковлевич виделся с Пушкиным перед лекцией — так горячо и пластично рассказывал о нем Брюсов.

Много говорил нам Брюсов о технике его стиха. Впервые услышали мы о необходимости располагать большими вспомогательными средствами для действительно научного изучения Пушкина. Мы услышали о том, что должен быть составлен словарь пушкинского языка, уяснены его поэтика, ритмика и рифмика, сделаны длинные ряды статистических подсчетов оборотов речи, рифм и ритмов.

Нам странно было, разбирая «Пророка», нумеровать для начала стихотворные строки:

- 15 — и он к устам моим приник,
 16 — и вырвал грешный мой язык,
 17 — и празднословный и лукавый,
 18 — и жало мудрая змея
 19 — в уста замершие мои
 20 — вложил десницею кровавой.

И этот отрывок, сначала оживленный рассказом Брюсова об истории этой пьесы, — так что она становилась куском живого трепещущего организма, — подвергать потом техническому цифровому анализу, словно скальпелем отделяя все его жилы и мускулы.

Брюсов подчеркивал необходимость добиваться свежести и законченности в наших литературных опытах и ссылался на требования Пушкина, оценившего в стихотворной речи «блеск и энергию», «гармоническую точность».

Тема о разносторонности Пушкина была широко развернута Брюсовым позднее, в его лекциях в Институте его имени.

На лекциях 1921—22 года о Пушкине мы были свидетелями размышлений Брюсова и его полемики с врагами, набрасывавшимися на него из подворотни реакционных изданий или с трибуны литературных митингов. Лекции в нашей небольшой аудитории, вернее сказать, в небольшой кружке, давали возможность Валерию Яковлевичу, как бы вчерне, наметить отдельные положения своих более ответственных лекций в организованном уже тогда Высшем Литературно-художественном институте или своих статей для «Известий», «Московского понедельника» и «Печати и революции».

Как бы в «домашней» обстановке он мог поделиться с нами мыслями, которые еще недостаточно созрели, чтобы высказаться печатно или публично.

И эти репетиции отличались от более продуманных, отточенных, неопровержимых аргументаций впоследствии. Здесь высказывались нередко гипотезы, которым затем Брюсов не находил подтверждений или которые впоследствии формулировал более осторожно.

Говоря о Пушкине позднее (в 1924 году), Брюсов основными побуждениями возникновения поэтического произведения вообще называл стремление выразить некоторую мысль, передать некоторые чувства, или, точнее, уяснить себе, а следовательно, и читателям еще неясную идею



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ И А. С. СЕРАФИМОВИЧ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЛХИ

Фотография, март 1925 г.

Собрание Н. Н. Суровцевой, Москва



ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА НА МОГИЛЕ БРЮСОВА. НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ В МОСКВЕ.

Фотография Н. Петрова, 9 октября 1926 г.

В центре — П. Н. Сакулин, справа — А. В. Луначарский
Литературный музей, Москва

или настроение. Такими размышлениями вслух и были лекции самого Брюсова о Пушкине.

В конце лекции Брюсов часто прибавлял: «по обыкновению я забалтываюсь, когда говорю о Пушкине». С упоением он доказывал, что Пушкин был «поклонником свободных идеалов», что до конца жизни остался он верен «вольнoлюбивым надеждам» своей юности, что Пушкин был революционером. Чувствовалось, что Брюсов говорит о чем-то личном. Не переступающий обычно предельную черту спокойствия, уравновешенности, почти величия, он горячился, обсуждая эту тему. Горошины его картавости, его хрипловатости становились заметнее, он чаще, короче попычивал догорающей папиросой, не всегда размеренно отстраняя ее концами пожелтевших, обкуренных пальцев. Он досадливо ломал спички.

Мы молчали, но он доказывал нам, полемически яростно и напористо, свободoлюбие Пушкина, его ненависть к деспотизму, как будто мы все ему возражали. Временами он делал длинные паузы, настолько затяжные, что становилась ощутимой жизнь комнат и коридора и слышно было, как глухо постукивала наверху над потолком швейная машинка.

Брюсов приводил эпитаграммы на Аракчеева, Голицына и Фотия, доказывая, что не с чужих слов, а из самой действительности узнал Пушкин отрицательные стороны самодержавия. Он обстоятельно анализировал отношение к нему обоих царей, Александра и Николая, историю его ссылки и цензуры. Особенно горячо опровергал он легенду о перемете Пушкиным своих политических взглядов во вторую половину жизни.

Помню, Брюсов попытался как-то наметить и обосновать социальную программу Пушкина, но потом оставил эту попытку, перейдя к более общему утверждению верности Пушкина одному чувству: ненависти и презрения к царизму.

После старых школьных учебников понятно, какими свежими показались нам сообщения Брюсова о Пушкине — противнике крепостного права и как-то по-новому для нас зазвучали многие строфы «Онегина».

Брюсов приводил строки Пушкина, звучавшие современно:

«Дружина писателей и ученых, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности...»³⁴

В 1923 году Валерий Яковлевич, отвечая на упреки в старании выставить Пушкина революционером, почти коммунистом, писал в неоконченной статье «Пушкин и царизм»: «Представляя Пушкина «коммунистом», конечно — нелепо; но что Пушкин был *революционером*, что его общественно-политические взгляды были *революционными* как в юности, так и в зрелую пору жизни и в самые ее последние годы, это — мое решительное убеждение. Притом я настаиваю, что революционером Пушкин был не только бессознательно, в глубинах своего творческого миропонимания <...>, но и сознательно, в своих логически обдуманых суждениях. Это — твердый вывод из того внимательного изучения Пушкина, которое в моей жизни заняло вот уже почти сорок лет, считая с того времени, когда я мальчиком впервые стал задумываться над стихами великого поэта. Это — то, что я считаю истиной и что поэтому не могу не отстаивать, не повторять самым настойчивым образом <...> Пушкин революционер, — это *исторический факт*, это и есть *истина* <...> Сам же по себе вопрос, конечно, огромной важности. Он стоит в связи с общим вопросом, еще более значительным: *может ли великий поэт не быть революционером?* Я утверждаю, что *нет*...»³⁵

Вот резюме его высказываний на наших лекциях.

Так, защищая Пушкина, сам Брюсов познавал, принимал, утверждал революцию.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О Сергее Михайловиче Соловьеве см. наст. том, стр. 352.

Наиболее критические суждения о поэзии С. Соловьева — однако достаточно корректные — Брюсов высказал в рецензии на его первый сборник «Цветы и ладаи» («Весь», 1907, № 5; вошло в кн. *Далекие и близкие*).

² *Адалис* — псевдоним Аделины Ефимовны Ефрон (1900—1969), поэтессы и переводчицы, автора сборников стихов «Власть» (1934), «Братство» (1937), «Восточный океан» (1949), «Новый век» (1960), «Города» (1963), «Январь — сентябрь» (1970; изд. посмертно), книги «Любите поэзию» (1961), путевых очерков, романов. В ранние годы участница одесского кружка «Зеленая лампа» (Э. Багрицкий, В. Катаев, З. Шишова и др.). Ю. Олеша, вспоминая о встрече в 1918 г. молодых поэтов с А. Толстым, писал: «Адалис выступила с тем, что представлялось ей подражанием древней поэзии, а на самом деле просто с превосходными стихами, отмеченными необыкновенной, даже неожиданной для начинающего поэта точностью слова» (Ю. О л е ш а. Повести и рассказы. М., «Художественная литература», 1965, стр. 383—384). В 1920 г. она переезжает в Москву, выступает на вечерах поэтов и в печати, пишет совместно с Брюсовым «Идиллию в духе Теокрита» (неизд.), готовит сборник стихов «Первое предупреждение» (неизд.). Из него Брюсов берет эпиграфы к своим стихотворениям «Шаги Афродиты» и «Будь мрамором» (сб. *В такие дни*), посвящает ей несколько стихотворений в том же сборнике: с ней связаны также стихотворения Брюсова «Египетский профиль», «Посвящение», «Дом видений» (последнее в сб. *Миг*), «Два крыла» (сб. *Мед*) и др.

В 1921—1922 гг. заведовала секцией литературного подотдела Охобра, была преподавателем ВЛХИ и заведовала «школой поэтики».

³ Мария Ивановна *Поступальская* (1901—1972). Кончила ВЛХИ; в дальнейшем — детская писательница, автор повести «Чистое золото» (три издания), художественных популяризаций «Планета Океан» и «Вечно живой» (об огне и его роли в истории культуры).

⁴ Первые строки стихотворения Бор. Пастернака «Из суевья». Сборник «Сестра моя жизнь», в который оно вошло, в 1921 г. еще не был издан, но ходил по Москве в списках.

⁵ Первая жена В. В. Фефера — Юлия Ивановна, урожденная Шмидт, в первом браке Губонина (1883—1971).

⁶ Б. Розов. Брюсов-филателист. — «Советский филателист», 1924, № 10, стр. 18—19; письмо датировано 26 января 1924 г.; начиная с № 2 за 1924 г. имя Брюсова включается в список сотрудников журнала.

⁷ Юрьевский (Дерптский, ныне Тартуский) университет был в начале первой мировой войны эвакуирован в Воронеж.

⁸ Начальником Гукона со дня его учреждения в 1920 г. был член коллегии Наркомзема Н. И. Муралов; И. Ф. Франц в 1921 г. подписывал приказы в качестве замначгукона.

⁹ «Гудок», 1921, № 384, 26 августа.

¹⁰ В. Брюсов. Об организации школ Гукона. — «Вестник коннозаводства и коневодства», 1921, № 1-5, стр. 36—40.

¹¹ Мемуарист исходил, вероятно, из свидетельства В. Шершеневича: «Я помню, Маяковский внимательно слушал Брюсова, когда тот критиковал его стихи и указывал на недостатки. Маяковский шел вместе со мной домой и сквозь обиду шептал: «Сам писать не умеет, а до чего здорово показывает» (В. К а т а н я н. Маяковский. Литературная хроника. М., «Художественная литература», 1961, стр. 431). Факт отнесен составителем хроники к первой половине 1913 г.

¹² В. Ф е ф е р. В кабинете В. Я. Брюсова. — «Вечерняя Москва», 1945, № 300, 24 декабря.

¹³ Андрей Ефимович *Малишев* (р. 1902) — в 1921 г. работал в Литературно-издательском отделе Наркомпроса, а затем был сотрудником ВЛХИ по административно-хозяйственной части.

¹⁴ Алексей Николаевич *Чичерин* (1889—1960) — поэт, автор сборника «Шлепнувшиеся аэропланы» (Харьков, 1914) и декларации поэтов-конструктивистов «Канфун» (1926).

¹⁵ Александр Ильич *Ромм* (1898? — 1942) — поэт, литературовед, переводчик И. Бехера, А. Гдана и др., автор поэмы «Дорога в Бикзьян» (Уфа, 1941).

¹⁶ Михаил Петрович *Малишевский* — поэт и теоретик стиха, автор книги: «Метротоника. Краткое изложение основ метротонической междуязыковой стихологии. (По лекциям, читанным в 1921—1925 гг. в ВЛХИ, Моск. институте декламации проф. В. К. Сержникова и литературной студии при Всерос. союзе поэтов), ч. I. Метрика». М., изд. автора, 192..

¹⁷ Теодор Маркович *Левит* (1902—1942) — критик, переводчик и литературовед. Автор статей в Собрании сочинений Э.-Т. Гофмана в 7 томах (М., «Недра», 1929—1930), в журн. «Вестник иностранной литературы» и «Литература и искусство». На-

более крупная его работа опубликована посмертно в «Литературном наследстве», т. 45-46. М. Ю. Лермонтов, II, стр. 225—254.

¹⁸ Яков Осипович *Зунделович* (1893—1965) — литературовед, переводчик с польского, воспитатель молодых филологов. Автор исследований: «Романы Достоевского» (1963), «Этюды о лирике Тютчева» (1971, изд. посмертное) и др. Его памяти посвящен сб. «Проблемы поэтики» (Ташкент, изд. «Фан» Узб. ССР, 1968), содержащий работы учеников и биографические сведения об ученом.

¹⁹ Не вполне точная цитата из письма Жуковского к А. И. Тургеневу от 7 ноября 1840 г. — В. А. Жуковский. Полн. собр. соч., т. 3. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1906, стр. 518.

²⁰ К. А. Тимирязев. Два воззрения на труд.—«Коммунистический труд». Однодневная газета. М., 1920, 11 апреля.

²¹ Письмо М. Горького к В. Я. Брюсову от 23 февраля 1917 г.—«Печать и революция», 1928, № 5, стр. 60 (см.: М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28, стр. 380).

²² Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. 13. М.—Л., Госиздат, 1930, стр. 213.

²³ В. Брюсов. Новые сборники стихов.—«Русская мысль», 1911, кн. 7, стр. 24 (второй пагинации).

²⁴ Кв. Кувов. Литературные права.—«Новый быт», Иваново-Вознесенск, 1922, № 1 (октябрь), стр. 37—38. В следующем номере редакция сочла, однако, возможным поместить издательскую рецензию постоянного сотрудника журнала С. А. Селянина на сб. «Дали».

²⁵ Речь идет о рецензии Б. Анибала (Бориса Алексеевича Масайнова) на сб. «Миг» (альманах «Утренники», 1922, кн. 2).

²⁶ П. К. Губер. Гражданские мотивы в поэзии Блока.—«Литературные записки», 1922, № 3, стр. 1. Лейферт — известная в дореволюционном Петербурге фирма, отдававшая в прокат театральные и маскарадные костюмы.

²⁷ «Экран». М., изд. «Рабочей газеты», 1928, № 4, стр. 5.

²⁸ «Литературная газета», 1963, № 48, 20 апреля.

²⁹ *Валерию Брюсову*, стр. 56.

³⁰ В. Брюсов. Разносторонность Пушкина.—*Мой Пушкин*, стр. 206.

³¹ В. Брюсов. Почему должно изучать Пушкина.—*Мой Пушкин*, стр. 214.

³² В. Брюсов. *Marginalia Puschkiniana*.—*РА*, 1916, № 4, стр. 397. Перепечатано: *Ашукин*, стр. 267.

³³ В. Брюсов. *Miscellanea*. XLIX.—*Избр. соч. 1955*, т. 2, стр. 557.

³⁴ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 11. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 163.

³⁵ *Мой Пушкин*, стр. 301—303.